

**ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ФРЕНК (ур. ШТЕЙП)**

**ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ**



**Николай Рудольфович Штейп (1871-1943)**

*(Друзья были вырезаны из фотографии для безопасности)*

### Экспертиза наград и знаков различия.

Офицер (Н.Р. Штейп) на фотографии изображен в форме защитного цвета, введенной после 1907 года:

На плечах у него – погоны с одним просветом (звездочки и шифровка видны нечетко), что указывает на его обер-офицерский чин.

(Штабс – капитан, из письма его сына Федора к отцу от 26 июня 1915 г.)

На правой стороне офицерского мундира значок Николаевской Академии Генерального Штаба, выдававшийся всем её выпускникам.

На левой стороне мундира – планка из орденов и медалей:

орден св. Анны 3-й степени;

орден св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (т.е. – выданный за боевые заслуги)

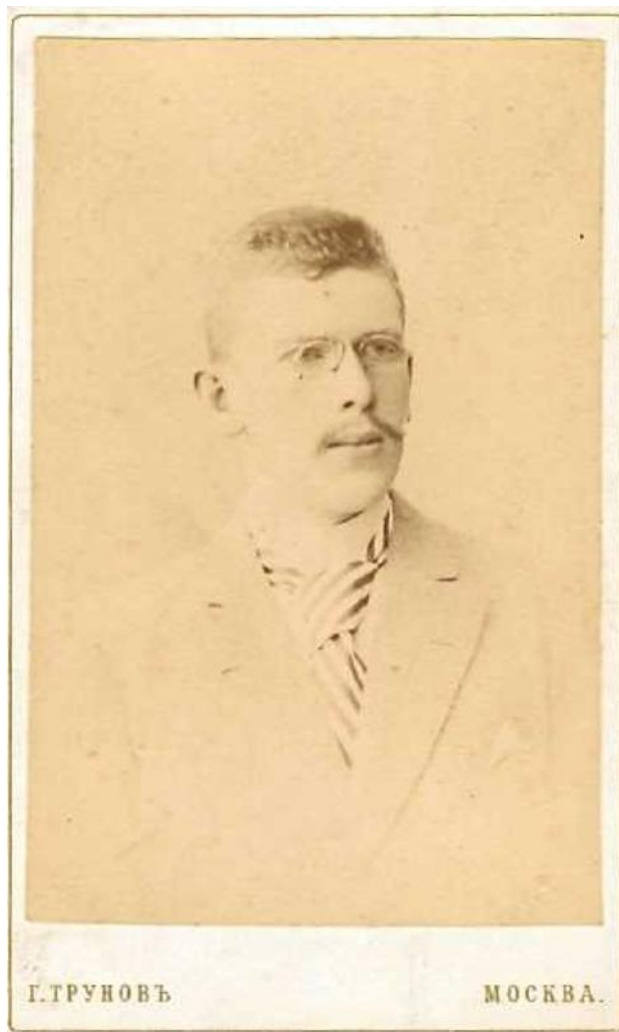
Неопознанная медаль, возможно – за участие в русско-японской войне 1904-1905 годов.

Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (светло-бронзовая на владимирской ленте). Медалью награждались все, так или иначе задействованные в юбилейных торжествах 1912 года. Всего было выдано 44 тысячи подобных медалей.

Медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых» (светло-бронзовая на бело-желто-черной ленте). Медалью награждались все, так или иначе задействованные в юбилейных торжествах 1913 года, в т.ч. – все состоявшие на действительной военной службе к 21 февраля 1913 года. Всего было выдано более 1,5 млн. подобных медалей.

Ниже орденов и медалей помещены два полковых знака, указывающих на воинскую часть в

знака, указывающих на военные части, в которых офицер проходил службу. (3-ий железнодорожный батальон. Из письма, приведенного выше.)



**Николай Рудольфович Штейп в 1892 году**



**Николай Рудольфович Штейп (1914 год. Перед отправлением на фронт.)**



**Николай Рудольфович Штейп (с денщиком)**

В форме  
железнодорожника после  
тюрьмы 1919-21 года



**Николай Рудольфович Штейн**



**Николай Рудольфович Штейн в 1940 году**



**Евдокия Андреевна Штейп (урожд. Кузнецова)**



Семья Штейп в 1916 году





**Антонина Рудольфовна Штейп (1868-1942)**



**Антонина Рудольфовна Штейн**

*(Тетя Нина — моя вторая мама.)*



**Рудольф Штейн (1830-1884)**



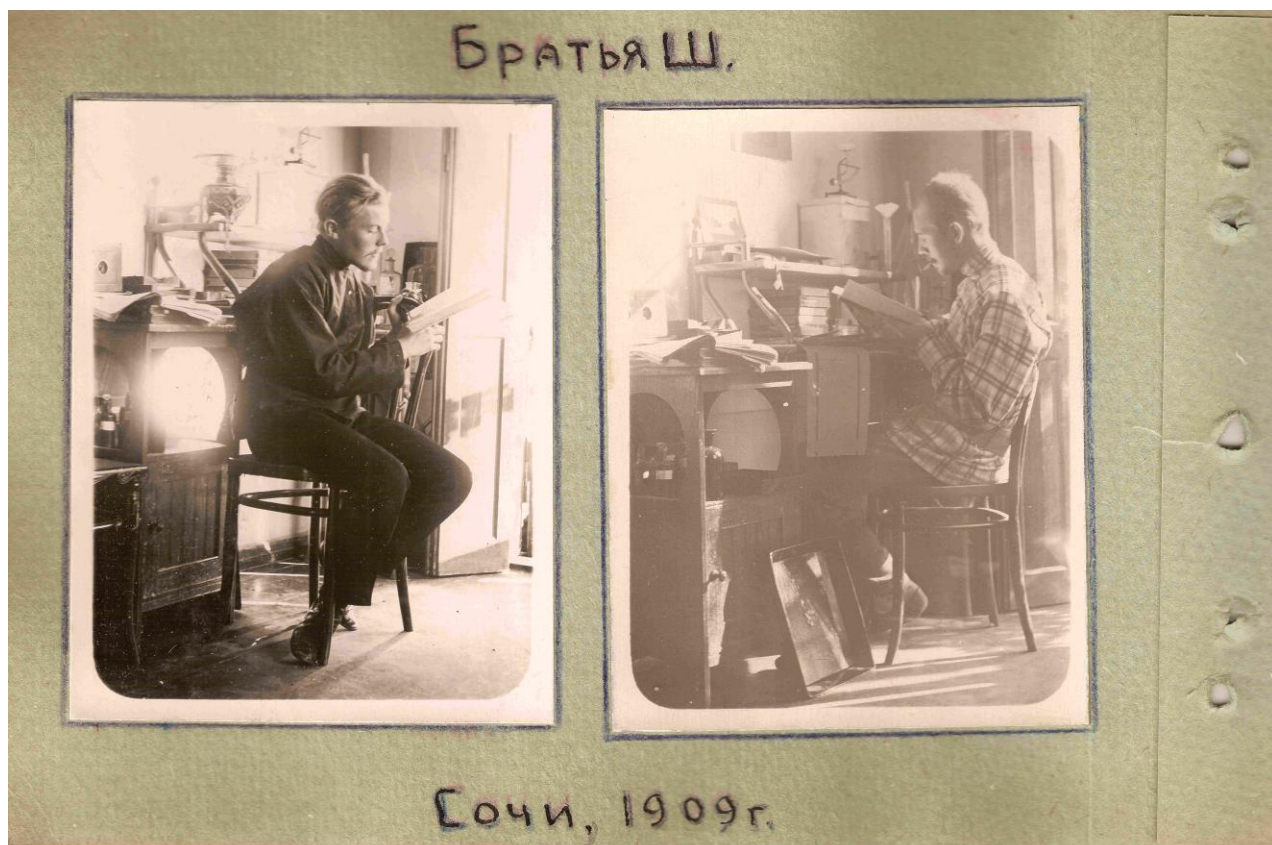
**Рудольф Федорович и Мария Ивановна Штейп (урожд. Иванова)**



**Владимир Рудольфович и Вера Константиновна Штейпы**



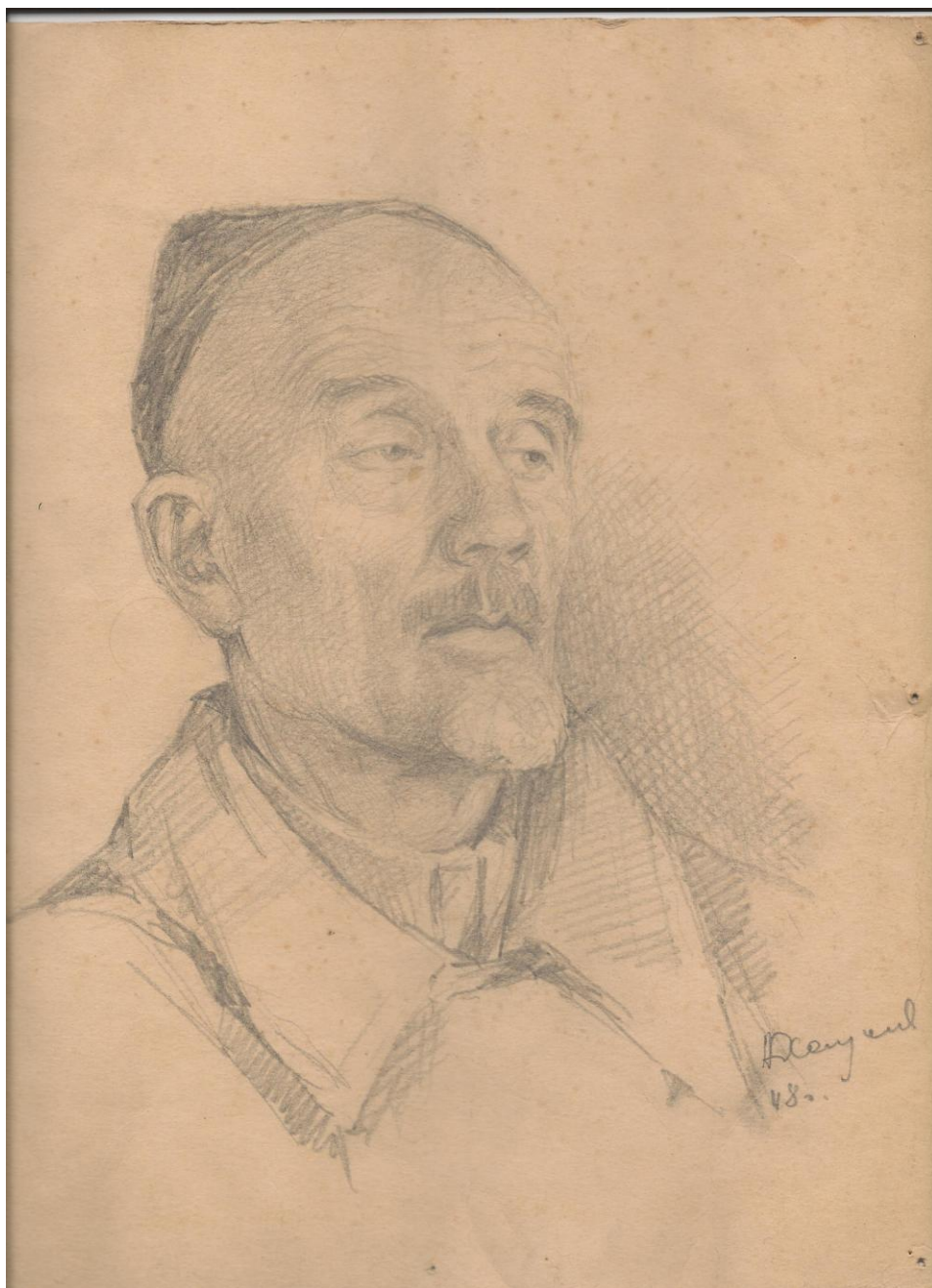
**Владимир Рудольфович — пожарник**



**Братья Николай Владимирович и Владимир Владимирович Штейпы  
(страница из сочинского альбома)**



**Владимир Владимирович Штейп и Инна Карловна Штейп (Старк)**



### **Портрет В. В. Штейпа**

*(«Что мне эта бумажка? Где двадцать лет моей жизни и где моя библиотека?» — о справке о реабилитации.)*



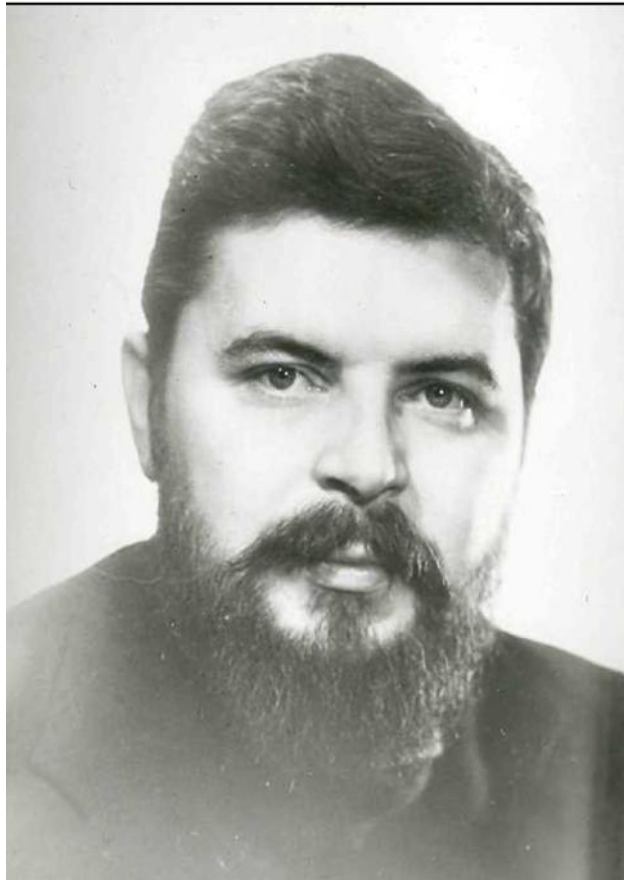
**Зинаида Николаевна Штейп (1922-2014) во время войны**

Михаил!  
Эту открытку надо хранить  
долго, чтобы не потерялась  
и не испортилась в  
войну. Этот снимок только  
для тебя. Зина Штейн.  
2/10-42.  
М. Френк от З. Штейн



**Михаил Целевич Френк (1912-1996)**

**Дети Михаила и Зинаиды Френк (урожд. Штейн):**



**Андрей (1944)**



**Эмилия (в замужестве Бурцева) (1948)**



**Илья (Франк) (1963)**

\* \* \* \* \*

Дорогие мои дети, внуки и правнуки, этот материал я собрала и составила на основе своих воспоминаний, рассказов моего отца, Штейпа Николая Рудольфовича, писем и рассказов братьев из Франции, дневника моего родного брата, Николая Николаевича Штейпа, воспоминаний Николая Владимировича Штейпа, моего кузена, записок его дочери Ирины

Николаевны Штейп, записей и рассказов моей сестры Марии Николаевны Штейп.

Сделать это было очень трудно — и не только из-за обилия и разрозненности материала, но, главным образом, пришлось пережить, проанализировать, пропустить все это через свое сердце. Я это сделала для вас, чтобы вы знали свои корни, заглянули в жизнь истории семьи почти на протяжении 150 лет.

Думаю, что этот материал доступен для прочтения только во взрослом возрасте, а детям нужно рассказывать отдельные элементы. К сожалению, во всем, что я описываю, было очень много трагического и мало смешного и веселого. Но такова была жизнь... Возможно, что я буду не всегда объективна, но я постараюсь.

При воспоминаниях меня часто охватывало чувство восхищения и преклонения перед мужеством, терпением и жизнеспособностью большинства членов моей семьи. Чтобы вам было легче разобраться в этом сложном фамильном древе, я буду использовать устаревший обычай, употребляя для женщин двойную фамилию — сначала девичью, а потом по мужу.

В 1847 году в Россию из Германии, из города Золинген, приехал мой дед, Рудольф Штейп, 1830 года рождения. Не знаю, насколько это правдоподобно, но отец называл его: барон фон Штейп. В свои семнадцать лет он мечтал открыть ткацкое дело в Петербурге, однако это ему не удалось, так как не было достаточных средств. Он нашел работу в должности писаря

на Невском стеариновом заводе, где изготавливали свечи для всей России. В 1855 году он женился на Марии Ивановне Ивановой, дочери титулярного советника, из разорившейся дворянской семьи. Они были обвенчаны в Петербурге, в Самсоновской церкви.

Первые годы они жили в Петербурге, а потом деду предложили возглавить филиал Невского завода в Москве, под тем же названием. После революции этот завод переименовали в «Стеол»\*, хотя он продолжал выпускать ту же продукцию.

*\* Завод находился в Лефортово (на берегу реки Яузы), то есть в Немецкой слободе, устроенной в 17-ом веке царем Алексеем Михайловичем, а затем называнной Лефортово в честь Франца Лефорта (сподвижника Петра I).*

Улица, где находился этот завод, до революции называлась Невская, а потом Салтыковская. Улица была очень маленькой, на крутой горе, которая вела к берегам реки Яузы. На ней было всего три дома: здание завода, здание, где жили работники завода, и общежитие. На другой стороне улицы было поле с цветами, одуванчиками до самого берега реки. Там паслись коровы, лошади, гуляли куры, утки. Там же находились мастерские, где делалась тара для продукции завода, и я помню, как на лошадях она вывозилась в ящиках. А наверху была контора Горбачевых (изготовителей этой тары).

На этом заводе, можно сказать, работала вся наша семья, начиная с деда и кончая мною в 1941—42 году. Хорошие характеристики о работе всей семьи, кстати, помогли моей маме освободить папу из тюрьмы в 1921 году.

Рудольф Штейп от завода занимал небольшую казенную квартиру, где и поселился с семьей (на Вознесенской улице, напротив ЦАГИ) — у них было три сына и четыре дочери\*.

\*

*Мария Рудольфовна Штейп-Гебель (1856—1918)*

*Владимир Рудольфович Штейп (1859—1921)*

*Екатерина Рудольфовна Штейп-Кюзель (1862—1917)*

*Андрей Рудольфович Штейп (1865—1919)*

*Антонина Рудольфовна Штейп (1868—1942)*

*Николай Рудольфович Штейп (1871—1943)*

*Ольга Рудольфовна Штейп-Красильникова (1872—1930)*

В 1884 году мой дед умер. Это произошло зимой — он шел мимо Елизаветинских прудов, которые находились за территорией завода, увидел там тонущего мальчика и спас его. Ребенок остался жив, а дед сильно простудился и умер от воспаления легких, оставив семерых детей. Сначала они жили в этой же квартире от завода, потом их переселили в квартиру поменьше, в тот дом, где был клуб завода Стеол после революции.

Старшая дочь моего деда — Мария Рудольфовна Штейп (1856—1918) вышла замуж за немца, Гебеля Карла Кондратьевича, который тоже работал на Невском заводе, бухгалтером. Они жили в квартире при заводе. У них было два сына и три дочери.

Сыновья — Виктор и Михаил — геройски погибли в первую мировую войну. Позднее мы нашли с папой на чердаке нашей дачи газету с этим сообщением.

Дочь Анна Штейп-Зюгель, Екатерина, Юлия — все были высланы из Москвы в неизвестном направлении в 1942 году и погибли. После смерти моей мамы они часто бывали у нас.

Особенно я помню Юлию. Она была тогда еще девушкой молоденькой, и мой папа постоянно подшучивал над ней, говоря, что вот мы скоро будем отдавать ее замуж; она краснела и говорила, что она мужа — на мороз — и веником, веником.

В 1905 году Мария Рудольфовна испугалась революции в России и с детьми уехала на год в Швейцарию на Бодензее, а муж ее остался в Москве, поскольку работал на заводе. Через год она снова вернулась в Россию.

Вторым ребенком у них был сын Владимир Рудольфович Штейп (1859—1921). Он женился на Вере Константиновне Гебель, немке, дочери священника-лютеранина. Его приход был в Пауль-Кирхе.

Жена Владимира Рудольфовича была очень больной, у нее был туберкулез, и врачи посоветовали ей жить в Крыму. Сначала ее возили в Анапу, в Ялту, а потом Владимир Рудольфович Штейп построил дачу в Сочи, где она с детьми и прислугой жила круглый год. Владимир Рудольфович Штейп был коммивояжером на этом же Невском стеариновом заводе, разъезжал по всей России — распространял продукцию завода.

Кроме того, он увлекался пожарным делом, и первая пожарная вышка, которая сейчас находится в Сокольниках, была построена на его собственные средства. В Новогирееве, где потом он построил себе дачу (это недалеко от Москвы), он организовал команду на общественных началах (как мы сейчас говорим) — пожарную команду, и поэтому в округе всех пожарников называли штепами.

Еще Владимир Рудольфович увлекался пением. Он пел в церкви Вознесения в хоре, вместе со своими сестрами Ниной и Ольгой. Там он

познакомился с подругой тети Нины — Анной Алексеевной Успенской, на которой женился после смерти жены. Когда Владимир Рудольфович хотел развестись со своей первой женой, Ольга и Нина Рудольфовна пошли к директору завода и пожаловались. Директор завода предупредил его, что в таком случае его уволят. А я-то думала, откровенно говоря, что эти порядки были только в советское время.

Его старший сын — Владимир Владимирович Штейп (1886 года рождения, умер в 1973 году). Поступал в Университет МГУ, проучился некоторое время, но его преследовали, полиция царской России ловила его за прокламации политического, революционного, характера, — и отец отправил его в Швейцарию, в университет, на факультет естественных наук, кажется, в г. Женеву. После окончания университета он вернулся снова в Россию и поселился в Сочи, где жила его мать. Там он работал в сочинском дендрарии, занимался изучением флоры и фауны Кавказа, имел несколько научных трудов, но в советское время он был арестован, труды его были запрещены, а сам он был выслан на строительство Беломорского канала. Его жена — Инна Карловна Старк — родная сестра адмирала Георгия Карловича Старка, последовала за ним и разделяла все тяготы ссылки до конца. В 1954 году он был реабилитирован.

Первые годы ему не разрешали жить в городах и работать никуда не принимали, запретили заниматься наукой. Он клеил какие-то коробочки для иголок и очень нуждался. Но потом ему удалось переехать в Москву, позднее им дали квартиру, пенсию, но уже было поздно, так как здоровье было подорвано двадцатилетней ссылкой.

Помню, когда он вернулся в Москву, его сестра, Вера Владимировна Штейп-Айвазова, устроила встречу для всей родни по этому поводу. Тогда мы были (у них в Новогиреево) — я с мужем, моими детьми — Андреем и Милой. Владимир Владимирович Штейп сидел такой маленький, худенький

и ничего не рассказывал: оказывается, ему было приказано молчать о годах ссылки.

Сейчас я хочу рассказать вам о всем нам известном священнике, отце Борисе Георгиевиче Старке, родном брате Инны Карловны Старк-Штейп и сыне адмирала Георгия Карловича Старка. В книге Чарушина «Морских судеб таинственная вязь» есть глава, посвященная адмиралу Георгию Карловичу Старку, там же говорится, что в основу романа Пикуля под названием «Три возраста Акина Сан» положена его судьба. Я очень советую почитать всем эту интересную книгу.

В годы перестройки о Борисе Георгиевиче Старке много писали в газетах и журналах, показывали по телевидению. Отец Борис ранее служил на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа в Париже. Отец Борис в 1953 году вернулся в Россию и, после многих скитаний и запретов, получил приход в Ярославле, где и прожил до своих последних лет. Ирина Николаевна Штейп-Садыкова несколько лет вела с ним очень интересную переписку, сохранились эти письма у нее. Моя дочь Мила ездила к нему в Ярославль, была у него в церкви, а сын Андрей посылал ему мед со своей пасеки. 17 января 1996 года в газете «Комсомольская правда» было сообщение о его смерти.

Вторым сыном Владимира Рудольфовича Штейпа был Николай Владимирович Штейп (родился в 1887 году, умер в 1981 году). Он прожил долгую, интересную жизнь. Оставил воспоминания, которыми я часто пользовалась. В последние годы его жизни его дочь Ирина Николаевна Штейп-Садыкова (1921 года рождения) просила его рассказывать о детстве, юности, о местах, где приходилось жить, о друзьях и родных. Ему уже тогда было 90 лет. Он рассказывал с большой увлеченностью и теплотой.

Николай Владимирович Штейп был женат на курянке Анне Петровне Иевлевой.

В детстве своем он жил вместе с семьей на разных квартирах, в разных местах, но все это было, в основном, в районе Лефортово, Немецкой слободы. Они жили в доме Коровина с расписными потолками в Машкове переулке, в доме Ключиных на Немецкой улице, где родился Пушкин, в доме Елагиных в Плетешковском переулке, на Знаменке, и даже дачу снимали в Тушине, ранее это был пригород Москвы.

Учился Николай Владимирович Штейп, как и все мальчики, в реальном училище Санкт-Михаэльс-Шуле (Sanct-Michaels-Schule — Школа Святого Михаила). Затем, в 1911 году, закончил Петровскую Академию (ныне Тимирязевская), был агрономом; жил в Фирсановке, работал в Москве (Политехнический музей) или Московской области (Кубинка, Химки).

Их единственная дочь Ирина Николаевна Штейп-Садыкова училась в Институте иностранных языков, на факультете немецкого языка. У нее две дочери: Елена, 1947 года рождения, и Надежда, 1949 года рождения.

Старшая дочь Елена окончила общеобразовательную и музыкальную школу в Химках, затем Московский Энергетический институт по специальности инженер-светотехник, вышла замуж и уехала в Краснодар на родину мужа, Виктора Тарасовича Геращенко, инженера-электротехника, который всю свою трудовую жизнь связал с Институтом сельского хозяйства им. Лукьяненко и заведует там до настоящего времени фитотронно-тепличным комплексом. Елена Касимовна Геращенко работает там же. Имеют троих детей: Ирину, Леонида и Ольгу. Дочери уже замужем, у Ирины растет сын Александр, сама Ирина — экономист. Леонид занимается предпринимательством, выращивает грибы. Ольга закончила музыкальную школу, музыкальное училище и консерваторию (Академию) в Краснодаре по отделению композиции. Лауреат конкурсов юных, а затем и молодых композиторов, преподает композицию, сольфеджио и музыкальную литературу в Краснодаре, в музыкальной школе.

Надежда Касимова Малинаускене окончила общеобразовательную и музыкальную школу в Химках, затем классическое отделение филологического факультета МГУ, аспирантуру при МГУ, защитила диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук. Потом она вышла замуж за литовца Костаса Малинаукаса и уехала в Вильнюс, где преподавала в Вильнюсском университете античную литературу, латынь и древнегреческий язык, получила звание доцента. Разведясь с мужем, она вернулась в Москву к матери в Фирсановку и преподавала снова в МГУ, Педагогическом институте им. Ленина, в Российском государственном гуманитарном университете. В настоящее время она консультант-переводчик Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина, доцент Высшей школы культурологии. Автор свыше 60 публикаций: научных работ, учебных пособий, переводов.

До конца своей жизни (скончалась 1 ноября 2003 г.) Ирина Николаевна Штейп-Садыкова жила в Фирсановке со своей младшей дочерью Надей и ее двумя сыновьями — Костасом и Линасом. Похоронена на церковном Алексеевском кладбище при бывшем имении Середниково в нескольких километрах от Фирсановки рядом со своими родителями.

А сейчас я хочу немного отвлечься от рассказа хронологической последовательности о семье моего отца, его братьев и сестер, и остановиться на рассказе об очень интересных, довольно известных людях, в окружении которых довелось им жить, проводить свободное время.

Был такой старичок — почти ничего не видел, ходил с палочкой, звали его Петр Николаевич Кузнецких. Он в давние времена служил военным фельдшером, при Николае I еще. Он знал всех Штейпов с детства, был очень близким человеком — во всех семьях, как родственник. Почти каждое воскресенье он приходил в какую-нибудь из семей Штейпов и много рассказывал интересного о прошлом, а его зять-немец, по фамилии, не

помню, или по имени Франц, занимался производством скрипок — сам делал скрипки и учил сыновей Владимира Рудольфовича, объясняя им, какой нужен материал для нижней, для верхней деки, сколько лет его надо выдерживать и т. д. С его помощью, под его руководством Владимир Владимирович сам сделал такую скрипку, а потом подарил ее сыновьям отца Бориса Старка — Михаилу и Николаю, которые в те годы учились по классу скрипки в музыкальной школе.

Или был, например, такой заводской фельдшер, Дмитрий Васильевич, фамилию его не помню. Он лечил всю нашу семью бесплатно. Virtuозно делал самые сложные операции. Отец мой был знаком с ним по русско-японской войне и уговорил его уехать из Харбина в Москву, где помог ему устроиться на Невском заводе. Работал он в маленькой медсанчасти завода и был большим другом семьи. Когда после революции началось уплотнение...

Но не всем ясно, что такое уплотнение. Это когда в вашу квартиру вселяли чужих людей, а вас если не выселяли совсем, то запикивали в одну комнату. Так в доме, где был клуб завода «Стеол», после смерти моего деда, его семье дали крошечную трехкомнатную квартиру на первом этаже. В одной комнате жила Нина Рудольфовна, в другой — Ольга, а в третьей — Андрей Рудольфович. Хотя у Андрея Рудольфовича уже была семья — жена и двое детей, которые жили в Казани. Как только сестры выехали — Ольга Рудольфовна вышла замуж, Нина Рудольфовна устроилась работать и могла снимать себе квартиру, — Андрей Рудольфович привез туда семью. И вот после революции их уплотнили. И семью из 4-х человек поселили в 12-метровую комнату, а две другие должны были отдать чужим людям. Ему еле удалось упротить, чтобы туда, в одну из комнат, поселили фельдшера заводского, Дмитрия Васильевича. В 1919 году Андрей Рудольфович умер от тифа, а семью выселили, и когда отец вернулся из тюрьмы в 1921 году, он так и не нашел их.

После смерти моей мамы мы с папой часто заходили к Дмитрию Васильевичу, и он посоветовал растерявшемуся тогда совсем моему отцу отдать меня в группу, которую вела немка.

Кроме того, случайно я узнала из рассказов отца, а потом из дневников Николая Владимировича Штейпа, что им обоим был очень хорошо знаком чудеснейший человек, Василий Константинович Константинов, внебрачный сын Майковой и великого князя Константина Романова, поэта (под псевдонимом КР) (который, кстати сказать, известный романс «Раствори мне окно, стало душно невмочь», или: «Умер бедняга в больнице военной»). Поскольку он был незаконнорожденным, фамилию ему дала сама Майкова.

Это был очень образованный человек. В ту пору он окончил два высших учебных заведения: в Петербурге — Институт инженеров железнодорожного транспорта и Московский университет, естественный факультет. На Кавказе он строил железные дороги: Кутаиси — Владикавказ, и др. и был начальником железных дорог юга России. Мой папа мне о нем много рассказывал. Он был тесно связан со всей семьей Штейпов, много помогал нашим семьям. Так, например, в ту пору, когда отцу в 1918 году надо было срочно выехать в Москву из Майкопа с женой и маленькими детьми, он, зная хорошо места Кавказа, посоветовал отцу путь, который был тогда еще свободен от Красной Армии.

И вдруг Ирина Николаевна присылает мне воспоминания Николая Владимировича, где подробно записаны рассказы о его помощи нашим семьям — не только материальной, но и о большом влиянии на формирование молодых тогда Владимира Владимировича и Николая Владимировича. Он организовывал интересные экскурсии, походы по Кавказу, у Ирины Николаевны есть фотографии одной из таких экскурсий на озеро Кардыгач. С его помощью они познакомились со всеми достопримечательностями Кавказа, а главное, под руководством

культурнейшего человека, истинного аристократа. Как мой папа говорил: аристократизм — это высокое образование и культура плюс простота в обращении, без всякой мещанской вычурности.

Николай Владимирович очень часто работал под его началом: то как личный секретарь, то инженером, то в какой-то столовой. Когда Николай Владимирович у него останавливался, тот укладывал его на собственную кровать, а сам бросал бурку на пол и ложился на нее. Он мог подбить Николаю Владимировичу каблуки к сапогам, когда видел беспорядок. Во время гражданской войны и кровавой революции спасал его от мобилизации. Во время гражданской войны он был предательски убит в спину, когда шел по берегу моря. Уехать из царской России он не хотел, так как был преданнейшим своей родине человеком.

Еще наши семьи дружили с семьей генерала Василия Бернгардовича Струве. Он был директором Московского межевого института, позже этот институт назывался геодезии и картографии. Кроме того, он был приват-доцентом Московского университета, юристом. По своим политическим взглядам это был анархист. Жили они на Красносельской улице (до моста), а рядом, или даже в одном доме, жила сестра моего отца, Екатерина Рудольфовна Штейп-Кюзель со своим мужем.

Василий Бернгардович Струве был братом известного философа и политического деятеля Петра Бернгардовича Струве (1870 — 1944), который эмигрировал во Францию.

Мой отец мне много рассказывал, как они дружили домами (как тогда говорили), устраивали концерты, спектакли. Жена Василия Бернгардовича была родственницей Аксакова. Аксаковы в ту пору жили в Уфе. Семья Струве занимала большой дом, у них был свой домашний театр, ставили спектакли. Когда к ним приезжали родственники из Уфы и Петербурга, приглашали наши музыкальные семьи, которые, в свою очередь, тоже

готовили концерты. Отец мой, Николай Рудольфович Штейп, его сестры Нина Рудольфовна и Екатерина Рудольфовна: отец мой и Нина Рудольфовна пели дуэтом и соло из разных опер, старинные романсы, а Екатерина Рудольфовна им аккомпанировала.

Сын Василия Бернгардовича — Саша Струве — учился вместе с сыном Владимира Рудольфовича Штейпа, Владимиром Владимировичем Штейпом, в Санкт-Михаэльс-Шуле. Потом они долго дружили. Как-то летом эти семьи вместе снимали комнаты в Алушке. Владимир и Николай Владимирович вместе с Сашей Струве и его двумя сестрами много путешествовали по Крыму. Саша Струве был болен ревматизмом и пороком сердца и рано умер, поэтому в их путешествии он принимал участие, следуя за ними на пролетке. А Володя, Николай Владимирович и Вера — верхом на лошадях.

Как-то вышла неприятность из-за этого знакомства. Дело в том, что генерал Василий Бернгардович Струве подарил браунинг Владимиру Владимировичу Штейпу. Владимир Рудольфович Штейп жил с сыном. Дочь Вера Владимировна Штейп-Айвазова училась в пансионе фон Дервиз, в гимназии, а Николай Владимирович в ту пору учился в мореходке, в Ростове-на-Дону. У них еще был друг, Санька, который жил у них в те времена, когда отец Владимир Рудольфович уезжал в командировку. Мальчики велим себя неосторожно, даже по ночам у них горел свет, а днем ходили и носили туда-сюда какие-то свертки с материалом, из которого изготавливали скрипки, одним словом, вели себя не очень бдительно по тем временам, тем более, что в их доме выше этажом была социал-демократическая типография, и царская охранка искала эту типографию и следила за домом.

Николай Владимирович Штейп рассказывает, что вдруг ночью раздался звонок в дверь. «Кто там?» — спрашивают они, дворник отвечает: «Телеграмма вам от папаши». Они открывают дверь и видят там дворника и полицейских. Пришедшие полицейские всё перевернули, искали и кое-что

нашли — разные прокламации, и повели их в полицейский участок. Пробыли они там несколько дней, а потом их повели по Тверской на допрос. Ввели в окружении четырех городовых. Они шли с гордо поднятыми головами, публика их приветствовала, махала шапками.

Вначале на допрос был вызван Николай Владимирович, в его записной книжке или тетрадях с лекциями нашли такие зарисовки красных флагов, браунинга, а его прокламации попали в папку дела Владимира Владимировича, его брата. Служитель охраны, предупредив его, сказал: «Вот от этого-то (видя его рисунки) будьте подальше, а то и до виселицы недалеко», — и неожиданно отпустил его, сказав, что он свободен.

А брата, Владимира Владимировича, продолжали держать, так как прокламации были у него в папке и в кармане у него нашли патрон от браунинга. Его спросили: «Где браунинг?», а он отвечает, что у него его нет. Хотя браунинг был спрятан дома, под вентиляционной решеткой в полу.

Когда Николай Владимирович вернулся, у них в квартире была засада — дежурили городовые, которые за это время всё перевернули, и удалось им также арестовать дочку генерала Василия Бернгардовича Струве, которую прислал к ним их друг Саша.

В охране Владимиру Владимировичу дали подписать протокол. Он берет, читает и подписывает: «Прочел с удовольствием» — так обычно подписывал бумаги Николай II, за что жандарм дал ему пощечину.

Владимир Рудольфович Штейп, приехав из командировки, срочно уничтожил все их подозрительные материалы и поселил Николая Владимировича, сына своего, с Ниной Рудольфовной Штейп, на Знаменке, просил ее заниматься с ним и следить, чтобы он такие номера больше не выкидывал. Владимира Владимировича хотели сослать из Москвы в Вятку, но отец его, Владимир Рудольфович Штейп, уговорил отправить его в Сочи к

больной матери. Он и там находился под слезкой. Там он устроился на работу к Константинову, о котором я уже рассказывала. Сначала чертежником, а потом по сбору лекарственных растений.

Ирина Николаевна Штейп-Садыкова в 1992 году, узнав, что внук Петра Бернгардовича Струве — Никита Струве — приезжал в Москву из Парижа с каким-то докладом, написала ему письмо, рассказав о дружбе семей, и получила от него благодарственный ответ. В Париже он в данный момент является директором Русского философского издательства «Имка-Пресс».

Было и много других друзей, но об этом потом, а сейчас я продолжу рассказ о семье моего отца.

Николай Владимирович Штейп писал рассказы. У меня есть тетрадь с его рассказами, которую он мне подарил. Стихи писал. Когда Владимир Владимирович Штейп, уставший от постоянного преследования и гонения, решил уехать в Америку со своим другом Санькой, то по этому поводу Николай Владимирович написал «Поэму о неосуществившемся», которую он посвящает брату Володе и его другу Саньке.

В 1910 году.

Друзья в Америку собрались,

Искать там счастья и ума.

Они со всеми распрощались:

С сестрицей, братом и тата.

Уж наложили в чемоданы,

Чтоб меньше было пустоты

Камней, из Красной что Поляны,  
Местечка дивной красоты  
Принес любитель наш природы.  
Но почему же грусть в очах?...  
Какие вас гнетут невзгоды?  
Какая тяжесть на плечах?  
Зачем так хмуры лица ваши,  
И складками покрыты лбы...  
«Мы получили от папаши  
Из белокаменной Москвы  
Отказ нам в помощи деньгами  
И наставлений всяких сброд.  
Того же ждем и от мамани  
Такой уж маменьки народ:  
Подчас, здоровья нам желая  
Они готовы нас испечь.  
Но к нам любовью сгорая,  
Вы зла не можете пресечь.  
Мы продадим свои штиблеты,  
Манишку, старый шарабан,  
Тогда нам хватит на билеты  
На паспорта и на жупан.  
Давай продолжим наши сборы.  
Смотри, вещей у нас с тобой

Раз, два — обчёлся, а не горы  
И чемодан почти пустой.  
Клади на дно смычки и ноты,  
А скрипка — нежный экземпляр,  
Недаром собственной работы  
Для ней устроим мы футляр.  
Вот словари клади поближе,  
Без них никак не обойтись —  
Один печатался в Париже,  
Другой в Америке, кажись.  
Английских два, и два французских —  
Тебе и мне — по паре тут,  
Чтоб не признали нас за русских:  
Россию там не больно чтут.  
Но нам известны все порядки  
Американцев проведем...  
Надевши смокинг и перчатки,  
За денди лондонских сойдем.  
А передышку б не мешало  
Нам сделать хоть на полчаса  
В делах важней всего начало  
Где нет начала, нет конца.  
Поговорим не о погоде,  
Поговорим мы о делах,

О нашей жизни на свободе  
В республиканских городах.  
Во сне живут одни старухи,  
Для них Америка — мечты,  
А мы ж сильны, бодры, от скуки  
Умчим туда и я, и ты.  
Там жизнь кипит, как в самоваре,  
Работу сможем там найти.  
Вперед мы будем на бульваре  
Проходим чистить сапоги,  
Потом получим чин повыше ...  
Должны пройти мы все чины.  
Ты как художник красить крыши  
Начнешь, а я — точить ножи.  
Нас не задержат с повышеньем.  
Зависит все от нас самих —  
Сегодня красишь с наслажденьем,  
А завтра Рузвельта достиг...  
Так решено, товарищ, — руку! —  
Для нас желанный час настал:  
Увидим свет, развеем скуку  
И в банк положим капитал.  
Теперь два слова от поэта:  
Вертите жизни колесо

В счастливый путь и многи лета

Я пью за вас бокал Дюрсо!

Кроме двух сыновей, у Владимира Рудольфовича была дочь Вера Владимировна Штейп-Айвазова (1890 — 1975 гг.). Родилась она, когда их семья снимала квартиру на Спиридоновке, поэтому ее прозвали Донька-Спиридонька. Это было около Никитских ворот, в советское время улица носила название Алексея Толстого.

Когда семья жила в доме Клюгиных, на Бауманской улице, и Вере Владимировне исполнилось 8 лет (в 1898 году), ее отдали в частный пансион Гроссмана. На дачу летом выезжали в Малаховку, а с дачи приехали уже в новую квартиру, в дом мадам Новинской, который находился на углу Аптекарского и Демидовского переулков.

В эту пору Веру Владимировну отдали учиться в гимназию фон Дервис, которая находилась в Гороховском переулке, сейчас там Институт геодезии и картографии. В этом доме семья прожила шесть лет, а на лето снимали дачу в Тушине, между Тушином и Нахабиным, в доме княгини Шаховской-Стрешневой.

Тогда это была красивейшая дачная местность. Там была конюшня у них и свой дворник, который ухаживал за лошадьё. В Москву ездили верхом, прямо до Триумфальных ворот, а иногда и в шарабане. Когда началась русско-японская война, лошадь отдали на фронт с санитарной двуколкой, а шарабан отвезли в Сочи, так как там уже в 1903 году уже началось строительство дачи для больной жены Владимира Рудольфовича Штейпа, и Вера Владимировна осталась вместе с сестрой милосердия помогать ухаживать за больной матерью. Рояль остался в Москве, и

пришлось там купить пианино, потому что Вера Владимировна брала уроки у учительницы музыки пения Шелеховой, ученицы Рубинштейна.

Рядом с ними жила жена поэта Аполлона Майкова, которая на лето приезжала туда из Петербурга. Наша семья с ней очень дружила, у нее была большая библиотека, и она любезно предоставляла Вере Владимировне и всей нашей семье пользоваться ею.

В 1904 году Веру Владимировну отправили в Москву для продолжения образования. Ольга Рудольфовна Штейп подготовила ее к экзаменам для поступления в гимназию Алилековой, где она познакомилась и сохранила дружбу на всю жизнь с Машей Дурасовой, которая впоследствии стала заслуженной артисткой СССР, играла на сцене Художественного театра. Мы все ее видели в спектакле «Синяя птица», муж Маши Дурасовой в советские времена тоже был известным артистом — по фамилии Чабан. Кстати, Маша Дурасова была крестной матерью Лёни, сына Веры Владимировны.

Позднее, когда Николай Рудольфович Штейп построил две дачи в Мурашках, это рядом с Черкизовской церковью, семья Владимира Рудольфовича приезжала жить к ним. Хотя это было далеко от железной дороги, но в магазины ходить было не надо, крестьяне из соседних деревень несли продукты на дом — молоко в глиняных крынках, сметану, мясо, птицу, на телегах развозили овощи и ягоды, оповещая всех выкриками, а продавцы кондитерских изделий приезжали на поезде и ходили по деревням с плетеными корзинками через плечо, со всякими сладостями. В деревню даже привозили мороженое, мороженое было на тележках: стояли такие большие жбаны, обложенные льдом, мороженое доставалось из жбана круглыми ложками и клалось на бумажное блюдце.

В 1911 году, после смерти своей матери и отъезда братьев, Вера Владимировна осталась в Сочи, она вышла замуж за Асмаяна, он был турецким подданным, имел свои плантации, где выращивал табак и продавал

в собственном магазине. У них в 1912 году родился первый ребенок, Владимир, но умер во младенчестве.

Когда в Турции началась резня армян, первый муж Веры Владимировны Асмаян уехал, не дождавшись рождения сына. Вера Владимировна вышла замуж второй раз за Айвазова.

В 1914 году у нее родился второй сын, Леонид Акимович Айвазов.

Вера Владимировна была очень симпатичной и энергичной женщиной. Сразу после революции она работала в детском доме для беспризорных, где, с большими трудностями, на средства каких-то спонсоров, открыла небольшой ресторан, который назывался «Чашка чая». С работы в этом ресторане она сумела собрать какие-то средства (и еще ей помогли спонсоры) и открыть народный театр, где она пела со сцены. Она исполняла романсы, народные песни, например такой романс «Чуть задумаюсь о былом» и др. Этот романс был гвоздем ее программы. Также она пела «Соловья» Алябьева и «Я видел березку, склонилась она». Рассказывали, что в театре она имела огромный успех и после ее выступления поклонники окружали ее, забрасывали цветами, так, что она с трудом могла пройти к своему экипажу.

В 1921 году умер ее отец, Владимир Рудольфович Штейп, от разрыва сердца. Он спешил на поезд, тут и случилось с ним это несчастье. Его вторая жена, Анна Алексеевна Успенская, сообщила им об этом в Сочи и предлагала приехать в Москву, в Новогиреево. Вместе с мужем Вера Владимировна вернулась в Москву, где она продолжила свое музыкальное образование — училась у народной певицы Петровой-Званцевой. Но Иван Антонович Айвазов был очень ревнивый человек и был против ее выступлений на сцене, так что ей пришлось вскоре это оставить, хотя она потом всегда пела в домашних концертах.

В Москве ее муж открыл небольшой магазин от Моссельпрома. В этом магазине она ему помогала, бросив сцену. Он находился в Марьиной роще, недалеко от Белорусского вокзала.

Тогда был НЭП в России, но с ограничениями — продукты можно было отпускать в одни руки только в строго ограниченном количестве и ассортименте. Однажды ее муж продал большую партию товара уговорившему его покупателю. Но считали, что это был специально подосланный агент, и его тут же арестовали, судили и выслали в Новосибирск, куда вместе с ним отправилась и Вера Владимировна Штейп. Поэтому мой отец, Штейп Николай Рудольфович, всегда называл ее второй в нашей семье декабристкой, — первой была Инна Карловна, которая последовала за своим мужем, а второй была она.

Сын ее, Леонид Акимович Айвазов, учился в то время в ФЗУ при заводе «Компрессор», на шоссе Энтузиастов. В 1932 году, когда ему не было еще 18 лет, его арестовали и дали ему страшную политическую статью за номером 58/101114. Статью дали только за то, что он дружил с молодыми людьми из семьи бывших дворян. Вся семья к тому времени была уже арестована. Кроме того, при обыске в его доме нашли охотничье ружье. Сказали тогда ему: «Вы же могли Сталина убить».

С большим трудом его матери, Vere Владимировне, удалось освободить его через год, но условно, с запрещением жить в крупных городах, тем более в Москве. Ему пришлось жить и работать где-то под Серпуховым (тогда он еще не имел никакой специальности) физкультурником-массовиком. В 1935 году он вернулся в Москву, жил сначала в общежитии, а потом в Новогирееве, в своем доме. Женится и пошел учиться в автотракторную школу. Затем работал на заводе «Мособлдортранс». Жена его умерла рано, оставив ему четырех дочерей — Римму 1936, Аллу 1939, Людмилу 1937 и Веру 1946 года рождения.

Вырастить девочек ему помогла мать, Вера Владимировна. Я с моим отцом часто бывала у них в Новогиреево и сохранились фотографии об этом.

В эти годы шли поголовные аресты, люди бесследно исчезали — мой отец тоже был под постоянным наблюдением ГПУ.

Точно не знаю по какой причине, но на некоторое время наши отношения прервались. Помню, как к нам приехала Вера Владимировна, и у моего отца, Штейпа Николая Рудольфовича, с ней состоялся неприятный разговор. Дело было в том, что Вера Владимировна занимала в доме своего отца одну маленькую комнату, где они ютились семьей в 8 человек: она с мужем, сын с женой и четырьмя дочерьми, а рядом комнату занимала вторая жена ее отца, Владимира Рудольфовича, в третью же комнату, пока они были высланы, подселили милиционера с семьей, — и Вера Владимировна обратилась к моему отцу за помощью написать бумагу в суд, чтобы выселить вторую жену отца и занять ее комнату. На что мой отец возмутился и сказал: «В нашей семье еще никогда не было такого срама, и я тебя не только не поддерживаю, но запрещаю беспокоить старую женщину. Согласен — она тебе не мать, но она была женой твоего отца». Вера Владимировна хлопнула дверью и уехала. После этого несколько лет был перерыв в наших встречах.

Екатерина Рудольфовна Штейп-Кюзель (1862—1917) была замужем за немцем, жили они на Красносельской улице. Детей у них не было. Однажды она застала мужа с кухаркой и на этой почве помешалась, много лежала в больницах, умерла в 1917 году от тифа.

Андрей Рудольфович Штейп (1865—1919) работал и жил на заводе «Стеол». Увлекался рыбалкой, часто ездил в Рязанскую губернию там и познакомился с Полиной Ивановной, работницей текстильной фабрики. Свадьбу его праздновали на квартире брата, в доме Клюгиных, где родился Пушкин. К тому времени у него уже было двое детей. Он жил в маленькой заводской трехкомнатной квартире на первом этаже, в доме, где в советское

время помещался клуб завода «Стеол». После смерти матери, Марии Ивановны, с ним жили две сестры — Ольга и Нина Рудольфовна. Потом сестры устроились на работу и сняли квартиру на Знаменке, а он привез свою семью из Казани и занял всю квартиру. После революции его уплотнили, оставив ему одну только комнату. В 1919 году он умер от тифа, который свирепствовал тогда в России, а его семью выселили. Когда мой отец, Николай Рудольфович, освободился из тюрьмы, он пытался найти его семью, но безуспешно.

Ольга Рудольфовна Штейп-Красильникова (1872—1930) была младшей сестрой моего отца. Она вышла замуж за известного архитектора Сергея Васильевича Красильникова. Ее муж строил в Замоскворечье сельскохозяйственную выставку, где был Нескучный сад и Академия. К сожалению, он много пил со своими друзьями. Ольга Рудольфовна, правда, знала о его недостатке еще до замужества, но была очень влюблена в него. Она считала, что если он покинет своих друзей и собутыльников и окунется в уют семейной жизни, то оставит эту пагубную привычку. Одним словом, ошибалась, как и все влюбленные, которые либо не видят недостатков любимых, либо мирятся с ними и верят в возможность их исправления.

Семья Красильниковых поселилась в доме на углу Демидовского переулка и Вознесенской улицы (по-новому: ул. Радио), на втором этаже, окна их квартиры выходили на Елизаветинский институт благородных девиц. При этом институте была гимназия, которую Ольга Рудольфовна закончила с блестящими результатами. У ее внучки Люси сохранился документ об окончании гимназии, где говорится о ее праве преподавания нескольких предметов. Она была очень музыкальна: пела в хоре церкви Вознесения, давала уроки музыки, свободно владела немецким и французским языками и готовила всю молодежь нашей семьи к поступлению в гимназию, в институты. Об этом рассказывал Николай Владимирович Штейп в своих воспоминаниях.

Встретилась Ольга Рудольфовна со своим мужем в доме Горбачевых, общих знакомых. Частенько, не дождавшись его на назначенном им свидании, она оставляла ему письма, записки. Эти письма, переполненные любовью, сохранились у Люси до сих пор. Зная за собой такой недостаток, он не хотел, видимо, воспользоваться любовью такой нежной, доброй девушки. Тянул с женитьбой, доказывая ей, что он не достоин ее.

Когда она была еще не замужем, то часто приезжала на Мурашки, на дачу моего отца, любила вместе со всеми детьми бродить по полям и лугам. Там было большое Звягинское урочище, в лесу собирали грибы и ягоды, плели венки. Ольга Рудольфовна как-то особенно красиво расставляла цветы в доме. Мой отец, Николай Рудольфович, часто советовался с ней, где что лучше посадить. Владимир Владимирович и Николай Владимирович пишут в своих воспоминаниях, что любовь к природе, постоянные рассказы об особенностях различных растений, особенное бережное отношение к любому живому цветку она передала им. Ведь оба брата стали заниматься потом естественными науками. Кроме того, она даже учила мальчиков шить и вышивать. Она могла несколько раз пересаживать один и тот же цветок в разные места, пока не найдет подходящее место, необходимое именно для этого цветка. Мой отец всегда говорил, что это был единственный человек, которому он доверял сад и чьи советы беспрекословно выполнял. Она даже бинтовала с лапой надломленные стебельки у цветов и растений — и они оживали в ее руках.

Помню, когда маленькую Люсю летом 1938 года привезли к нам на дачу на (улицу) Ленточку, она вырвала все Анютины глазки с корнем, посаженные возле беседки, где мы жили с отцом, на что мой отец сказал: «Боже! Откуда варварство такое!... Да ты полная противоположность твоей бабушки», а мне строго приказал в дальнейшем лучше следить за ней, коль мне ее доверили.

В 1903 году у них родилась дочь Мелитина Сергеевна Красильникова. Она закончила гимназию фон Дервиз, дружила с моими братьями. Она работала в кустарном магазине-музее около Никитских ворот, создавала рисунки для вышивки. Там продавались разные изделия: с резьбой по дереву, вышивки, вязание. Этот магазин был одно время и музеем. Жена Владимира Владимировича Штейпа, Анна Петровна Иевлева-Штейп, любила бывать в этом музее и всегда покупала там красивые вещицы в русском стиле.

В 1929 году скоропостижно скончался муж Ольги Рудольфовны, Сергей Васильевич Красильников, а в 1930 году, то есть через год, умерла и Ольга Рудольфовна — от приступа стенокардии.

Ольга Рудольфовна Красильникова была больным человеком, ее мучила стенокардия, тогда эта болезнь называлась грудной жабой, но в те годы не было таких лекарств, как валидол и нитроглицерин, которые, может быть, могли бы ей помочь. Я хорошо помню, что на шкафу остались царапины, следы от ее пальцев, когда она мучилась во время последнего приступа.

Мы часто бывали у них в доме. Жили они тогда в конце Почтовой улицы. Налево от нее идет дорога под мост и к метро Электrozаводской, а их дом стоял на правой стороне Почтовой, в глубине двора. Это был одноэтажный деревянный дом. Они занимали очень большую комнату, перегороденную на две пианино и буфетом. Комната была угловой и имела много окон с двух сторон, а около дома, под окнами, был маленький полисадничек, огороженный низким заборчиком, который утопал в цветах. Я очень любила там играть, нюхать цветы, пока взрослые вели свои разговоры. Ходили мы к ним в гости всегда пешком от Салтыковской улицы по параллельной Бауманской, которая называлась тогда Коровий брод, мимо института им. Баумана.

Зимой, когда я была маленькой, меня везли на санках. Однажды я даже выпала из саней, а они не заметили; пока встречные не обратили их внимание, что там за ними бежит ребенок и плачет.

Ольга Рудольфовна, моя тетя Оля, была очень хлебосольная, угощала нас вкусными пирожками, разными вареньями, хлопотала всегда по хозяйству, часто охала и хваталась за сердце. Она была небольшого роста, кругленькая, полная, всегда очень ласковая. Я любила прильнуть к ней и застыть в ее объятьях. Видимо, она нас, сироток, очень жалела.

Однажды на Пасху, сидя за праздничным столом, я очень оконфузилась. Юлия, дочь Марии Рудольфовны, сшила мне новые трусики с кружавчиками, и мне не терпелось похвалиться ими. Я задрала подол своего платьица и во всеуслышанье поделилась своей радостью, показав их. Тетя Оля молча опустила мне платье, дядя Сережа строго посмотрел на меня из-под очков, а мой отец сокрушенно покачал головой.

Не помню, чтобы тетя Оля с мужем бывали у нас, но мы и после их смерти часто приходили к их дочери Миле. После смерти матери Миле, дочь Ольги Рудольфовны, жила с тетей Ниной, Ниной Рудольфовной. Она вышла замуж за Алексея Степановича Толоверко, и в 1936 году у них родилась дочь Люся, Людмила Алексеевна Толоверко.

В начале войны Миле с Люсей эвакуировалась в Пензу, на родину своего мужа, и жила там с его родителями, работала на каком-то военном заводе почти до конца войны. Она вернулась в 1944 году, как раз когда у меня родился Андрюша. Вернулась она в свой дом, в Москву, самовольно покинув завод в Пензе, что тогда каралось законом, — и ее посадили в тюрьму. Дали статью и должны были отправить на Север. Моя сестра Муся собирала для нее теплые вещи, а Алексей Степанович в этот трудный период приложил все усилия и всеми правдами и неправдами буквально вырвал ее из заключения.

В эти трудные голодные годы Миля работала на овощной базе, перебирала картошку. Люся росла очень умной красивой девочкой, хорошо училась, потом закончила Бауманский институт. Зимой мы виделись редко в эти годы, а летом она постоянно жила у нас на даче вместе с моими детьми. Жили они очень бедно — выручало рукоделие Мили. Ничего, кроме ситчика, она не покупала. Все шила и перешивала из старых вещей. Это был очень деликатный, даже слишком, стеснительный человек. Например, привозя Люсю к нам на дачу, она даже не заходила в дом, уж тем более никогда не садилась с нами вместе за стол, в те времена, правда, очень скудный, но все равно это меня ставило в какое-то неудобное положение.

Когда Люся была студенткой, мы взяли ее однажды с собой на море в Евпаторию. Потом собирались путешествовать по Крыму и хотели, чтобы она присоединилась, но мать ее, Миля, написала, чтобы мы обязательно отправили ее в Москву, так как она обязана со всеми однокурсниками отработать комсомольскую практику.

В 1962 году Миля умерла от гипертонии. Люся первый месяц жила у нас на Салтыковке, с нами вместе, в одной комнате, а когда немного успокоилась после смерти матери, вернулась к себе домой.

В 1963 году Люся вышла замуж за Леонида Сергеевича Мигая, сына народного артиста Сергея Мигая. Это был очень умный, интересный человек, но он много пил, и Люся с ним намучалась.

Антонина Рудольфовна Штейп родилась в 1868 году, умерла в 1942-ом. В доме ее звали просто тетя Нина. Разрешите и мне так ее называть, иначе я не привыкла. Тетя Нина была для меня второй мамой. Я ее очень любила. Думаю, что в моем воспитании она сыграла значительную роль. Это была женщина исключительной порядочности и принципиальности. Высокообразованная, очень красивая и умная, но строгая. Она закончила Елизаветинский институт Благородных девиц, много читала, любила музыку,

театр, пела в хоре церкви Вознесения. Всегда принимала участие в концертах. Свободно говорила по-немецки и по-французски. Играла на фортепиано.

Очень часто она с моим отцом разыгрывала роли из опер, оперетт. Они пели дуэтом, или один из них аккомпанировал, а другой пел. Пела она и на итальянском языке некоторые романсы. Эти праздничные вечера остались незабываемыми для меня на всю жизнь. Для меня такие вечера были просто сказкой. Мне казалось, что я не дома, а где-то во дворце, в театре. После этого я долго находилась под впечатлением — ходила, как сумасшедшая, жила и думала словами из их романсов. Я даже иногда прогуливала школу на следующий день — настолько неприятно (по контрасту) было туда идти. Хотела сама изобразить что-нибудь подобное, но у меня не получалось. Когда никого не было дома, я приглашала всех детей из коридора, садилась за рояль и импровизировала.

В годы моего детства тетя Нина жила с сестрой, Ольгой Рудольфовной, и помогала ей по хозяйству, так как тетя Оля была больна стенокардией (грудной жабой). Потом она помогала ее дочери Мелитине, Люсиной маме. К нам она тоже приходила помогать по хозяйству, когда умерла моя мама — готовила, иногда гуляла со мной и всегда во время прогулок читала наизусть стихи. Постоянно рассказывала мне сказки. На каждый случай жизни у нее были пословицы, четверостишия, поговорки. Думаю, что именно она мне с детства привила любовь к поэзии. Когда я болела, а простужалась я очень часто, папа ехал за тетей Ниной и приглашал ее к нам. Она просиживала целыми днями у моей постели и мы вместе с ней учили разные стихи. Так я выучила несколько глав из «Евгения Онегина» или очень много стихотворений из Некрасова.

Но, к сожалению, не всегда была такая благодать. Она с папой часто ссорилась. Папа требовал, чтобы она нас не баловала, не делала все сама, а

приучала бы нас по хозяйству, но у нее это не получалось. Во время их ссор мое сердце разрывалось на части — я любила их обоих и не знала, как их примирить. Иногда мне удавалось обмануть папу, сказав, что эту работу я сделала сама. И когда он, поверив, хвалил меня, мне было очень стыдно. Я готова была признаться, но, оберегая покой в доме, молчала. Тетя Нина никогда не выдавала меня, но потом журила меня и отчитывала за мое вранье.

Но самым сказочным был сундук тети Нины, на котором я спала до войны. Когда она его отпирала, чтобы достать очередной подарок к чьему-нибудь дню рождения, передо мной открывался совсем другой мир — дореволюционный, вернее, мир прошлого века. Всё вокруг в те годы было каким-то серым, бесцветным, бедным, а тут было обилие шкатулок, коробочек, обтянутых шелком и бархатом, а в них всякая всячина — то цветок из тонкого фарфора, то засушенный цветок красивый, то чашечка необыкновенная, то бальное платье и туфельки из атласного шелка, которые она готовила себе в приданое, красивые открытки, книжечки маленькие, письма любимого человека, перевязанные ленточкой, посуда. Кстати, синие закусочные тарелочки с цаплями, кузнецовского производства — это тоже оттуда. А какие красивые кружева, вышивки, лоскутки разных материалов: ситчика, батиста, маркизета — и все это не заморского производства, а российского, дореволюционного. И все это имело приятный запах каких-то необыкновенно стойких старинных духов.

Тетя Нина очень любила детей. Готовила всех детей родственников к поступления в гимназию или к экзаменам на аттестат зрелости. Весь смысл ее жизни заключался в помощи родным.

Личная жизнь ее не сложилась, несмотря на ее красоту. Рассказывали, что она полюбила человека, который был очень богат, и его родители были против, чтобы он женился на бедной девушке без всякого состояния. Мои

братья, Николай и Андрей Штейпы, рассказывали мне, когда я была в Париже, как тетя Нина приезжала на лошадях на дачу в Мурашках и вся ее коляска была завалена коробками с подарками, картонками со шляпками.

Тогда по Ярославской железной дороге следующей после станции Мытищи была станция Пушкино, так что добираться до Мурашек нужно было на лошадях. На Мурашках мой папа построил на берегу Клязьмы две дачи: одну для нашей семьи, а другую для гостей. Мои братья рассказывали, что там жила Ольга Рудольфовна с семьей и приезжали Андрей Рудольфович и тетя Нина.

Все дети очень любили тетю Нину. Она, когда была молодой, играла в теннис, серсо, крокет, городки, но только очень боялась воды — стеснялась раздеваться и купаться в Клязьме. Мой папа над ней часто подшучивал. На Мурашках она долго не оставалась, так как с ее нежной кожей ей больше всех докучали комары, и мой отец шутил, что комар мужского рода и понимает, что красиво и вкусно, на что она отвечала: «Ах, Коля, ты просто неисправим...»

В молодости она работала библиотекарем при Обществе народной трезвости у книгоиздателей Сабашниковых. У Сабашниковых были свои театры, библиотеки, где организовывались встречи с писателями — Бальмонтом, Федором Сологубом, Валерием Брюсовым, Гумилевым и другими. Тетя Нина нам часто рассказывала о знакомстве с ними, и о том, как однажды Гумилев поцеловал ей ручку.

Один из театров Сабашниковых находился где-то у Бутырской заставы, где ставились оперы, уже сошедшие со сцены Большого театра, и современные спектакли. Тетя Нина всех снабжала билетами в театр и книгами-новинками. Так, в те времена только вышла пьеса Толстого «Живой труп», роман Федора Сологуба «Навьи чары», «Санин» Арцыбашева — они гремели тогда среди молодежи.

В 1908 году тетя Нина вместе со своей сестрой Катей и Николаем Владимировичем, сыном брата, снимали трехкомнатную квартиру на Знаменке, потом эта улица носила название ул. Фрунзе. Если идти от Арбата вниз, то это был первый или второй дом от угла с левой стороны, а напротив был барский дом с колоннами и Александровское военное училище, в котором учился Куприн.

Тетя Нина была очень передовой женщиной — выступала за равенство и братство, за независимость, а позднее даже хорошо отзывалась о революции — впрочем, может быть, просто из страха. На моей памяти это была уже старенькая женщина, за 60 лет, но всегда стройная, с пышной красивой прической. Она постоянно носила длинную черную юбку до пят, всегда белую блузку с черным галстуком или бантом, а сверху черную кофту из сатина. Всю одежду свою она никогда не обновляла и постоянно штопала, а позднее, когда не могла держать иголку в руках, то просила меня об этом. Но ей никогда не нравилось, как небрежно я это делала. Моя заветная мечта была с моего первого заработка купить ей байковую кофту и новый жакет, что я и сделала осенью 1941 года, и даже сама сшила.

У нее, сколько я помню, всегда были больные руки и ноги. Теперь я понимаю, что это был полиартрит. Она никогда не жаловалась, не лечилась, не обращалась к врачам и почему-то последние годы спала сидя — возможно, сердце. У тети Нины не было ни одного зуба, но говорила она очень четко и пела до последних лет. Она всегда шутила, что она свои десны отточила так, что они как металлические, и что ей не надо дрожать перед зубным кабинетом.

Во время революции она перенесла тиф, долго лежала в больнице — вокруг нее умирали, но она выкарабкалась.

Это была очень сильная женщина, аккуратная и ответственная. Иногда даже до смешного: например, были случаи, когда ей удавалось подработать в

летний период. Знакомые просили ее посторожить летом какие-нибудь квартиры, когда уезжали на дачи. Так она могла сидеть там голодная, без куска хлеба, только потому, что боялась, как бы в ее минутное отсутствие не забрались воры.

При всей своей любви к нам, она была очень требовательная и строгая. Я не помню, чтобы она когда-либо ласкала или целовала меня. Кажется, больше всех она любила Милю, дочь Ольги Рудольфовны, да это и понятно — она растила ее с пеленок и много лет прожила вместе с ними. Всегда восхищалась ее красотой. Муся (моя старшая сестра) ее даже ревновала к Миле. Считали и меня ее любимицей, но я от нее никогда таких признаний не слышала. Помню только, что она называла меня «умная головка», и когда надо было что-нибудь решить, она обращалась ко мне: «А что скажет наша умная головка?»

После смерти мамы мой папа на лето отвозил нас с тетей Ниной в Крым, а сам уезжал на работу. Так мы ездили несколько лет подряд — в Анапу, в Евпаторию, чтобы лечить там от ревматизма мою сестру Веру.

Помню как однажды, в день рождения Веры, 4 августа, рано утром, когда все еще спали, я вышла в хозяйский сад и нарвала букет цветов. Радостная, я прибежала в дом, чтобы поздравить Веру и сделать ей сюрприз. Но как же мне попало — я должна была немедленно вернуть хозяйке цветы и извиниться. Мне тогда было лет шесть или семь. Мне было очень обидно, и я с плачем бросилась из дома. Упала на камни (там дорожки были вымощены камнем) и я очень сильно разбила коленки. Меня долго лечили, они не заживали до конца лета.

Тетя Нина обратилась к врачу, и он посоветовал лечить меня морской водой. Но одну меня в море она боялась отпустить, и пришлось ей сшить купальник из ночной рубашки с рукавами, чтобы за руку со мной заходить в море и обмывать мои больные коленки. Это был очень смешной костюм, и

мне казалось, что люди смеются. Я понимала, что это некрасиво, да и купание не доставляло мне удовольствия, тем более что морская вода обжигала мои раны. И только на следующий год, когда мы провели на море месяц с папой, я навсегда полюбила море.

Папа заводил меня глубоко и бесстрашно бросал в воду. Быстро научил плавать и нырять. К концу месяца я заплывала вместе с папой очень далеко, а когда уставала, то вскарабкивалась к нему на спину.

Мой папа ежемесячно выплачивал тете Нине пенсию, выделяя ей 30 рублей. После революции она была полностью на его иждивении, так как она жила у Мили, а у нее (у Мили) в 1929—30 годах умерли мать и отец, и она испытывала материальные трудности.

Потом тетя Нина переехала жить к своей подруге, Анне Алексеевне, второй жене Владимира Рудольфовича, в Новогиреево, в одну комнату, где они жили в доме, построенном Владимиром Рудольфовичем специально для второй своей жены.

Последние годы своей жизни она приезжала в Клязьму всё реже и реже, у нее ужасно отекали ноги, они были буквально как два бревна. Хотя она очень любила эти места и даже поговаривала, что, если бы можно было по христианским обычаям, она хотела бы умереть здесь и быть похороненной на участке.

Во время войны отец мой мало чем мог помочь ей кроме пенсии, и она в свои 72 года устроилась на фабрику шить на дому нижнее белье для армии. За это получала хлебную карточку.

В мае 1942 года ее вызвали в милицию и на паспорте поставили печать «Караганда» — с требованием выехать в течение 24 часов — как немке, чье проживание в Москве представляет для страны опасность. 15 мая она приехала к нам в ужасе. Ее трудно было узнать — сгорбленная и

почерневшая. Она просила помочь, но папа ничего не мог уже сделать. Я помню, он ее только ругал — зачем она дала им паспорт. Она вернулась в Новогиреево и умерла в ночь на 16-ое от инсульта. Всю жизнь она была трусихой, всего боялась и всегда всем помогала. Про нее никогда нельзя было сказать «старуха». Она и в старости была очень красивая. Сейчас, бывая на могиле, я с сожалением думаю, что теперь осталась я одна, кто помнит ее. Думаю, что, прочтя мои записи вы тоже проникнетесь к ней любовью и уважением.

Она была сожжена в крематории (поскольку Семеновское кладбище, где хоронили всех членов семьи, было к тому времени уже давно закрыто, а другого места у нас не было), и урна с ее прахом всегда стояла у нас на рояле — целый год, как папа говорил, в знак ее музыкального таланта.

После смерти папы мы положили в папин гроб ее урну, поэтому в этой могиле и ее прах.

Вот только теперь, перечитывая воспоминания Николая Владимировича Штейпа, зная рассказы отца и моих братьев, я могу сделать вывод, какая дружная была эта семья. Дети Рудольфа Штейпа всегда помогали друг другу, часто встречались, переписывались, все праздники проводили вместе, даже жить старались поблизости друг от друга. Если возникали какие-либо обиды или недоразумения, то они со временем прощались и забывались. Братья материально поддерживали сестер, уступали им свои квартиры. Мой отец строил дачи с расчетом, что рядом будут жить Ольга и Нина Рудольфовна.

У Николая Рудольфовича не было квартиры в Москве, и когда он перебирался со своих временных мест жительства из других городов, то останавливался с моей мамой и кучей детей, со всем своим хозяйственным скарбом на несколько дней у своих родных. А потом уже на перекладных добирался до Мурашек.

Не знаю, как это получилось, но в годы революции двое из братьев умерли и умерли две сестры. Сожалею, что я не знала брата Владимира Рудольфовича, который умер в 1921 году от разрыва сердца, Андрея Рудольфовича, который умер от тифа, и двух сестер, Марию и Екатерину Рудольфовну, которые умерли в 1917 и 1918 годах. Так как я родилась в 1922 году, то знала потом только их могилы, но очень хорошо знала их детей и внуков. Ольгу Рудольфовну я тоже мало знала, потому что она умерла, когда мне была 8 лет. И больше всего я знала тетю Нину, Нину Рудольфовну.

У Семеновской заставы было кладбище, где у нас был большой фамильный участок № 4. Там были похоронены все. Я как сейчас помню расположение могил и кто в какой могиле похоронен, клумбы, расположение деревьев, кустов, правда, не совсем помню, какие цветы были посажены на могиле каждого. На каждом кресте были написаны стихи, сочиненные моим отцом. Я помню только те, которые были написаны на могиле моей мамы:

Тише, листья, не шумите,

Нашу маму не будите.

Здесь в могиле под крестом

Спит родная крепким сном.

В дни поминания — Родительские, так называемые, и на Пасху — мы все собирались вместе на кладбище: туда приходили обязательно все. Сажали, убирали, обкладывали могилы свежим терном, вспоминали. Тетя Нина приносила всегда в кастрюле рис с цукатами — кутью. Договаривались, кто будет летом приходиться и поливать цветы.

Последнее захоронение было сделано 1930 году Ольгой Рудольфовной Штейп. После этого кладбище закрыли. Там началось строительство метро. Правда, было разрешено переносить могилы. Помню, как мой папа переживал, долго не мог решиться на перенос умерших, не хотел тревожить их кости. Так они там и остались.

Цветы на могилах сажались только те, которые любил усопший. Так, на могиле моей мамы было много, много крупных ромашек. К моему рассказу я прилагаю рисунок кладбища, где дано полное расположение участка и все могилы.

Теперь я расскажу о нашей семье — о моем отце, моих братьях и сестрах и о себе. Младшим сыном в семье Рудольфа Штейпа был мой отец, Николай Рудольфович Штейп (1871—1943). В 13 лет он потерял отца, а в 26 лет — мать. Мария Ивановна умерла в 1897 году.

Мой отец закончил реальное училище Санкт-Михаэльс-Шуле, там же учились все его братья и племянники. Это было очень известное училище, где преподавание велось на немецком языке. Там давалось прекрасное образование и воспитание. Все профессора были приглашены из Германии. Французский язык преподавал француз месье Бешерон. Мой папа часто вспоминал своих учителей (мелькали такие фамилии как Краузе, Дерк, Дельвиг), рассказывал о своих проделках. Мой папа всегда говорил нам: «Вы не знаете немецкого языка потому, что у вас преподает не Краузе и не бьет вас линейкой» или еще: «Вы никогда не будете грамотными и не узнаете прелести русской литературы, потому что вас не таскает за уши Вертоградский».

Николай Владимирович, сын Владимира Рудольфовича, рассказывал, как они выводили из терпения француза Бешерона, который ни слова не понимал по-русски. Когда он входил в класс, они стучали по партам и пели: «Приехал Кутузов колотить французов.»

Школа эта находилась на углу Кирочного и Демидовского переулка, а за ним была немецкая кирха, где каждый день перед началом уроков молились учащиеся этого училища и пели в хоре. Церковь была на углу Демидовского переулка и Вознесенской улицы (потом ул. Радио) — это прямо напротив Елизаветинского института Благородных девиц, где учились все девочки нашей семьи, сейчас там Педагогический институт.

Институт был расположен на горе, а за ним крутой спуск, с которого я, Муся и Вера зимой катались на санках. Внизу был красивейший парк, с аллеями из многолетних дубов, лип и два пруда. Парк простирался до самых берегов Яузы. Возвращаясь из школы домой, я обязательно шла этим парком. Осенью собирала красивые листья, жёлуди, а по весне — одуванчики. Потом эти пруды засыпали и построили стадион, который назывался «Строитель», где Мила (*дочь З.Н.*) занималась фигурным катанием. После революции в этом здании была школа-семилетка, где учились Муся, Вера и я пять классов. Школа эта находилась в Кирочном переулке — если идти от нашего уголка по Бауманской улице в сторону метро, то первый переулок налево. Здание было трех- или четырехэтажное из красного кирпича, внутри довольно мрачное.

В ту пору, когда я там училась, талоны на завтраки и ордера на одежду выдавались не всем. Я никогда не получала их, так как относилась к группе лишенцев. Помню, как по ошибке мне дали ордер на калоши, но, когда они уже были у меня в руках, вдруг вырвали и сказали: «Это же буржуйское отродье! Ей не положено». Они были такие блестящие, красивые, на байковой красной подкладке, что можно себе представить мои переживания. Вам трудно понять, что тогда ничего купить нельзя было в магазинах, а всё распределялось только вот таким путем. Я до сих пор помню этот закуток на первом этаже, где я долго стояла и плакала. Очень уж мне было обидно.

Почему-то лестницы и коридоры в ту пору плохо освещались, и однажды, когда я поднималась по лестнице, меня сбила толпа спускающихся ребят, я ударилась затылком, проехала донизу и потеряла сознание. Меня отнесли в учительскую и положили на диван. Когда я опомнилась, мне с издевкой сказали: «Иди помолись в церковь, что осталась жива. Ведь ты в Бога веришь...» Меня все время упрекали, что я не пионерка и хожу в церковь.

После моего первого причастия в 11 лет (в 1933 году) я ходила уже в церковь с опаской и с оглядкой, и только на Пасху. Потом эту церковь Вознесения заколотили. Там устроили какой-то склад, а когда раньше велась служба в этой церкви, то пионеры стояли вокруг нее и бросались в верующих камнями.

Мое падение с лестницы меня долго беспокоило болями в затылке, и как-то выходило из ключицы правое плечо. Через год состояние мое ухудшилось — меня мучили страшные головные боли и плечо. Врачи туго забинтовывали мне плечо, лечили электро-воротниками, а потом положили в первую Московскую нервную клинику, где я пролежала почти до конца учебного года. Но самое неприятное — мне было запрещено заниматься и читать. Так получилось, что я отстала от своего класса и пришла с нового учебного года в новую школу № 346 (в Токмакове переулке) опять в 6-ой класс. Помещение Санкт-Михаэльс-Шуле тогда отошло к заводу ЦАГИ.

В начальной школе я училась плохо, тогда было только две отметки — уд и неуд. Все дети класса были разбиты на группы, и каждой группе давали свое задание. Готовили все вместе, а отвечал кто-нибудь один. Почему-то это была всегда не я. И даже когда я хотела ответить и знала, то мне не давали отвечать, а ставили или неуд, или уд.

И только в новой школе у нас была прекрасная старенькая учительница по математике Елена Андреевна Каргер, немка. Она меня обожала, я была

лучшим математиком в школе. Мне даже поручали проводить уроки с объяснением нового материала. Эта учительница раньше преподавала в Елизаветинском институте и жила в какой-то пристройке к нему. Когда она болела, я ее навещала. Она мне объясняла новый материал по алгебре, и я эти знания передавала классу. Так до окончания школы я и слыла лучшим математиком. Все потом учителя очень удивлялись, что я стала учительницей русского языка и литературы, а не математики.

После окончания училища Санкт-Михаэльс-Шуле мой отец уехал учиться в город Дерпт, в Эстонии. Там он прозанимался один год, но ему не понравились немецкие порядки, и он перешел в Петербургский Политехнический институт, который окончил в 1898 году, получив звание инженера-технолога.

В годы студенчества он очень бедствовал. Давал уроки — жить на мизерную стипендию было очень трудно. По окончании института он работал в страховом обществе. Но в 1902 году решил пойти служить в царскую армию, в военную организацию по строительству железных дорог. Он был специалист по сооружению фундамента под мосты. Здесь ему больше платили и предоставляли жилье, которого у него не было.

Правда, уже тогда мой отец купил старый дом на берегу реки Клязьмы, в поселке Звягино, недалеко от Черкизовской церкви, ближе к железнодорожному полотну, и начал его отделку. Потом он решил построить рядом новую летнюю дачу, но ее строительство затянулось, так как его батальон стоял в то время в Савелове и не всегда и не часто ему удавалось этим заниматься.

В этом же году мой отец в парке Сокольники познакомился с моей мамой, Евдокией Андреевной Кузнецовой (1882—1927). Она была из богатой купеческой семьи, из города Каширы, это недалеко от Москвы. Ее родители были против этой партии — отец мой ничего не имел, «ни кола, ни двора»,

как они говорили. Приехав в Каширу за мамой, он попал на какое-то местное торжество, бал — и сразу после бала увез ее к себе, против воли родителей. Родственники с маминой стороны никогда не поддерживали с нами связь — они были очень недовольны этим браком и долго не давали своего благословения. А папа с мамой прожили вместе 25 лет и были очень счастливы. Папа нам рассказывал, что каждый год 12 мая, день их знакомства, они праздновали в Сокольниках. И с болью и сожалением отмечал, что в 1927 году им не пришлось отметить их Серебряную свадьбу, так как мама умерла за месяц до него, 4-го апреля.

В 1903 году у них родился первый ребенок, Николай Николаевич Штейп (1903—1992). Тогда уже они поселились на Мурашках, так папа назвал это место в Звягине, где они жили.

Вскоре его батальон был направлен на строительство Транссибирской железной дороги, соединяющей Забайкалье с Владивостоком, по Манчжурской территории, через Харбин. А затем он строил Южно-манчжурскую железную дорогу через Мугден к Порт-Артуру. Тогда с Китаем было заключено какое-то соглашение, которое, как говорил отец, часто бессовестным образом нарушалось Россией. Забыла, как он называл эти земли, которые незаконно были захвачены Россией. Правда, он всегда подчеркивал, что русская оккупация не была слишком обременительна для Китая, напротив, она давала ему много положительного. Строительство железных дорог, предоставление рабочих мест, язык, культура, оживление в торговле — все это благоприятно было для Китая, поднимало его благосостояние, и поэтому Китай, как он говорил, несмотря на недовольство Россией, сохранял нейтралитет в русско-японской войне. Еще он отмечал, что китайцы очень быстро осваивали русский язык, пусть даже отдельные слова, что никак нельзя было сказать о русских.

Об этом времени отец нам очень много рассказывал, описывал природу тех мест. Помню, что он говорил о каких-то необыкновенно крупных бабочках, чуть ли не с человеческую ладонь; о высоких травах, почти в рост человека, что часто их спасало — можно было спрятаться. А еще, что там водилась в степях масса ядовитых змей и было очень жарко, и что они все мучались от недостатка воды. Жизнь там была очень трудной и опасной. Они жили в палатках, совсем не было переводчиков, и переговоры велись, в основном, жестами и мимикой.

Местные князья протестовали против того, чтобы дорога проходила через их земли, строили разные козни, разбирали пути и т. д. Нужно было всегда оставлять хоть небольшие отряды для ее охраны. В то время в Китае было много бедноты, безработных, а также просто разбойников, которые объединялись в группы, их называли «хунхузами». Они имели своего предводителя и были очень жестокими: отрубали головы, уши, руки. Часто на отряд отца нападали хунхузы, забирали кого-нибудь в плен. Люди страдали от недостатка воды, болели и умирали от каких-то неведомых отцу инфекционных болезней.

В детстве я много слышала интересных рассказов отца об этом периоде его жизни. Да и не только я — мои подруги любили, когда он рассказывал, а делал он это очень артистично, эмоционально, с демонстрацией жестов, добавляя китайские слова. Все хохотали, а он — никогда, только чуть-чуть улыбался.

Помню, он рассказывал такой случай: как-то на отца напали хунхузы, взяли его в плен вместе с отрядом, посадили в погреб, морили голодом, не давали пить, но отец был очень находчивый человек, хороший дипломат; ему всегда как-то удавалось спастись. На этот раз его выручили очки — он носил пенсне, и потому их предводитель решил, что он ученый, доктор. У этого предводителя была единственная дочь, невеста, которая перед свадьбой

вдруг заболевает и не может смотреть, у нее загноились глаза. Это был простой конъюнктивит. Предводитель спросил, не доктор ли полковник, не может ли он вылечить его дочь. Отец подтвердил, что он доктор, и согласится лечить только в том случае, если освободят весь его отряд, накормят и дадут воды. Зная их правила, он разыграл целую комедию в этом лечении, сказав, что лечить будет три дня по утрам с восходом солнца. Кроме марганцовки он ничего не имел, но без церемоний в те времена ему бы никто не поверил. Он говорил, что это был очень темный народ, хунхузы. Лечение проходило в присутствии предводителя и его свиты. Отец потребовал, чтобы ему дали три одинаковых прозрачных сосуда, куда он бросил разное количество марганцовки. И каково же было удивление, когда вода приобрела разные оттенки — от розового до бордового. Он ежедневно промывал ей глаза — и через три дня невеста прозрела. Предводитель был очень благодарен и отпустил весь отряд, снабдив провизией и водой. Только они отъехали, как по дороге вслед за ними скачут слуги предводителя с просьбой, чтобы доктор вернулся, так как у князя, у предводителя, заболел брат чумой. Отец сказал, что он сейчас не может вернуться, а вот через три дня он обязательно вернется, а сами помчались вперед и еле ноги унесли.

В 1904–05 годах батальон отца становится участником русско-японской войны, там он знакомится с Деникиным. Деникин часто объезжал на дрезине линии охраны на оборонительных путях железной дороги. Однажды во время такой проверки он узнал, что операция в боях с хунхузами была очень успешно проведена моим отцом и много взято в плен, сказал: «Очень рад, что в моей бригаде такие отважные люди, я о вас доложу генералу Ренненкампфу».

Отец участвовал в боях под Мугденом, Ляоляном, всегда с большим восхищением говорил о генерале Макарове и генерале Ренненкампфе, об их преданности и выдержке. Кроме того, он сражался на корабле, если мне память не изменяет, под названием «Витязь». У него осталась морская форма

— красивый белый китель с погонами, какие-то цепочки через всю грудь, фуражка с морской кокардой — все это хранилось у нас дома очень долго в кофре, который запирался ключом со звоном и стоял под роялем. Кофр — это небольшой деревянный сундук с выпуклой крышкой, весь обтянутый металлическими пластинками, как ремнями. Иногда папа задергивал шторы, запирали двери и облачался по всей форме. Он размахивал шпагой, делал какие-то выпады, выкрутасы. Я зачарованными глазами смотрела на него, но страшно боялась, потому что он говорил, что, если кто-нибудь захочет войти, то только через его труп. Всё это было такой святой тайной между нами.

В конце 30-х годов, когда обстановка была очень напряженной, — кругом аресты и обыски — отец всё это закопал где-то на даче, остался только китель. Из этого кителя в 45-м году я сшила маленькому Андрюше первое в жизни пальто. Оно было очень красивым — сверху белое атласное, а изнутри с начесом, и теплое, и даже с этими военными пуговицами. Я не придавала значения, что там было нарисовано, а Изя, друг Михаила Цальевича (*мужа З.Н.*) шутил: «Ах, вот вы какого происхождения, оказывается...».

Как только было объявлено «Замирение», против, между прочим, которого всегда был мой отец, — он называл его предательством со стороны командования, моя мама с двумя маленькими детьми — моими братьями Колей и Федей (1904—1931 гг.) — обеспокоенная отсутствием писем, приехала разыскивать отца в Хабаровск. Там они прожили недолго. Китайцы и денщики помогали ей нянчить детей, а папа продолжал там работать.

После окончания строительства железной дороги в Азии мой папа вместе с семьей вернулся на Мурашки. У них родился еще сын, Андрей Николаевич (1906—1982 гг.). На его крестинах было решено купить землю на (улице) Ленточке, и отец начал там строительство, а пока жили на Мурашках. Кстати, всех крестили на Мурашках в Черкизовской церкви, кроме меня.

По роду своей работы мой отец часто находился в командировках, а в помощь маме оставлял своего денщика. Все денщики очень любили и уважали маму и оставались с ней с удовольствием. Правда, бывали случаи, когда денщики влюблялись в маму, и тогда отец менял их, как он шутил, на постарше и пострашнее.

Если его командировка предполагалась быть продолжительной, он ехал сначала один, подыскивал удобное жилье для семьи, а потом уже привозил маму с маленькими детьми. Старшие были на пансионе — мальчики в Кадетском корпусе, а Ольга — в гимназии. Так было, когда он строил дороги в Финляндии, Барановичах в Белоруссии, на Украине и на Кавказе. А на Пасху, Рождество и летние каникулы все собирались на Мурашках.

Так, Николай Владимирович рассказывает, что в 1909 году, когда он, Николай Владимирович, жил с моими тетками, Ниной и Екатериной, на Знаменке в Москве, то мой отец на перепутье останавливался у них на несколько дней со всеми детьми и хозяйским скарбом — с курами и утками, которые были помещены в плетеные клетки. У мамы в ту пору уже родилась дочь Ольга (в 1909 году), и она носила ее на руках в пеленках, а мой отец возился с Андреем, тогда еще маленьким, а старшие — Коля и Федя — прыгали вокруг Николая Владимировича приговаривая: «А я тебе носик отрежу, а я тебе ушки отрежу».

Николай Владимирович был тогда молодым человеком и научил их революционным песням, например: «Вставай, поднимайся, рабочий народ...», на что мой отец сказал: «Ну, племянник, ты меня без ножа зарезал... — вот придет полковой командир, а они запоют эту песню, что я скажу ему?» Я припоминаю, что это выражение «Без ножа зарезал» папа употреблял очень часто.

Еще из воспоминаний этого периода: когда мой отец носил на руках Андрюшу, он пустил лужу и обмочил ему костюм, а пап говорит: «Ну,

Андрей, ты у нас моряком будешь». Поскольку Андрей был красивый с детства, папа предупреждал маму: «Смотри вырастит красавец и быстро протопает дорожку на Кузнецком мосту за француженками». Обо всем этом рассказывал Николай Владимирович.

В 1908 году родился у моих родителей Иван, но умер в младенчестве. В 1909 году родилась моя сестра Ольга. В 1911 году родился Павел (1911—1984 гг.), а в 1914 году родилась Муся (Мария). В это время они уже жили на Ленточке.

В 1914 году отец был призван на войну (Первая мировая) и отправлен в действующую армию, где отличился и был награжден Георгиевским Крестом. Царь Николай II, прибыв на фронт, собственноручно вручил ему награду. Эта бесценная вещь находилась в черной коробочке с портретом императрицы в исполнении палехских художников. Саму награду отец в смутные годы закопал где-то, думаю, на даче, а коробочку я подарила брату Андрею Николаевичу Штейпу в его первый приезд в Москву (из Парижа) в 1977 году. Она ему напомнила о многом, и он мне еще рассказал историю, которая подтвердила рассказ отца. Кроме этой награды, царь, узнав, что отец мой имеет столько сыновей, сказал, что это очень похвально, и предложил отдать двоих из них не то в Царский лицей, не то в учебное заведение в помещении Царского лицея: там, кажется, располагался Кадетский пажецкий морской корпус. На семейном совете было решено отдать Федора, как самого умного, и Андрея.

Андрюша рассказывал, что царь Николай II навещал их каждую субботу. Выстаивал с ними всю заутреню, а потом играл с ними, скакал на лошадях. Там давалось прекрасное образование. Жаль, что революция помешала им его продолжить. Занятия продолжались около трех лет, и с началом революции они вернулись в Москву, вернее, на дачу.

В 1916 году мой отец был ранен, и после выздоровления был направлен на Кавказ, на строительство Военно-Грузинской дороги.

В августе 1916 года родилась моя сестра Вера (1916—1946), а в 1918 — Леонид. В эти годы у нас было уже четыре дачи на Ленточке в Клязьме. Дачи, которые были на Мурашках, отец сдавал. Там было очень сырое место, масса комаров — рядом река Клязьма, а на другой стороне торфяное болото. Вначале по его плану были построены две дачи, 55-ая — для его друга священника Болотникова, и напротив — дача для французов Лемерсье, которые занимались коллекционированием картин. Папе очень понравилось это место. Кругом был лес, и просека вела прямо к берегу реки Учи. Тогда уже была станция Клязьма и станция Мамонтовка, на горе высился мамонтовский дом. Сначала папа построил маленькую дачу, дачу Федоровых, а потом, живя в ней, вел строительство нашей дачи и двух двухэтажных дач рядом для своих сестер и братьев. Улица была очень красивой и вилась до самой реки, как лента. Мой папа дал ей название ‘Ленточка’ и прибил дощечку с этим названием на углу 55-ой дачи. Я еще помню, как через дорогу мы ходили в лес за ягодами и грибами.

Напротив нашей дачи в ту пору больше никаких дач не было, но сразу после революции появилась дача Курбатовых, № 45 сейчас, и Никитиных на другой стороне. Пока у них шло строительство, они жили в отобранных у нас дачах. Никитин Яков был комендантом, чекистом, как сейчас помню, носил кожаную куртку и оружие.

Наступило трудное время революции — неразбериха. У мамы на руках в это время было четверо маленьких: Павлику было семь лет, Мусе — пять, Вере — два года, и новорожденный Леонид. Мама металась с детьми то в Каширу, то в Клязьму. Летом 1918 года вернулись старшие дети на каникулы из Кадетских корпусов и гимназии. Братья в Париже мне рассказывали, как мама сшила им косоворотки с поясами, сняла форму, чтобы они не носили ее,

и посылала их на клязьминский рынок торговать картошкой и молоком. Однажды их узнали — избили, отняли все продукты, приговаривая, что это кадеты, дети белогвардейца. Осенью, как только у них должны были начаться занятия, им объявили, что они на следующий день выезжают. Они приехали домой, попрощались с мамой, и больше она их не видела.

В ноябре 1918 года с большими трудностями отцу удалось вернуться с Кавказа. Он все вещи со всех дач собрал, запихал, как он говорил, до потолка и забил нашу дачу досками. Более ценные вещи отвезли к Ольге Рудольфовне, Люсиной бабушке, но они очень боялись и не хотели брать. Отец настоял с трудом, и кое-что они согласились оставить. Забрав маму с детьми, отец отправился в трудную дорогу, перебираясь к Тифлису, к месту своей службы.

Но везде было уже беспокойно, шли бои, стреляли. Кругом подступала Красная армия, а в Белой армии началось разложение. В декабре 1918 года мой отец с женой и с маленькими детьми с трудом, на перекладных, в товарных вагонах пробрались через Армавир в Новороссийск. Причем этот путь им помог проделать и подсказал Константинов. Василий Константинович был начальником тогда железных дорог юга России. Он хорошо знал отца по работе и помог ему, уговаривая в товарных вагонах поместить его с детьми, чтобы он смог уехать в Москву через Новороссийск.

Добравшись до Новороссийска, они увидели поезда с кадетами и стали разыскивать своих мальчиков. В это время в Новороссийске собралось очень много эмигрантов, которые спешили покинуть Россию. Тогда Новороссийск был еще в руках белых. Невозможно было снять квартиру и поместить туда маму с детьми. Отцу удалось снять где-то избу в ближайшей деревне, а сам он продолжал поиски. Наконец, им удалось найти трех сыновей-кадетов. Отец отправил маму с детьми в деревню, а сам с двумя старшими, Николаем и Федором, присоединился к отряду Деникина.

Когда я была в Париже, то брат Николай рассказывал мне, что они очень боялись стрелять — это было страшно — хотя у них был приличный отряд из числа кадетов старшего возраста.

Но все это продолжалось недолго, поскольку красные войска наступали со всех сторон и теснили Деникина к югу. Папа поспешил вернуться, чтобы успеть отдать их снова в Кадетский корпус. Тогда-то он упросил начальника корпуса взять и младшего сына, Павлика, которому еще не было восьми лет. Он долго не соглашался, но папа заверил его, что забот с ним не будет, так как старшие братья возьмут его под свой присмотр.

В 1979 году я и Муся (*Мария Николаевна Штейн, старшая сестра З.Н.*) впервые приехали в Париж по приглашению брата Павла. Мы остановились в доме Полетт, дочери Павла. Полетт со своим мужем Жераром отвезли нас на своей машине на пару дней к нашему старшему брату Николаю, который жил далеко от Парижа, в городе Вилье. Ему не разрешали жить в Париже, так как он не принял французского подданства. Он все годы своей жизни надеялся вернуться в Россию.

Даже перед смертью, находясь в больнице, он вдруг заговорил по-русски. Врачи не могли понять, но среди них оказался врач из России. Коля требовал, чтобы его отправили в Москву.

Там у Коли мы провели несколько дней. В первый же день Коля достал свой дневник, который он вел в дни скитаний. Это был небольшой блокнот с пожелтевшей от времени бумагой, сильно потрепанный. Как только мы легли с Мусей в отведенной нам комнате на втором этаже его дома, я полночи читала его и еще раз перечитывала следующей ночью. Там было много нового и интересного для меня, о чем папа нам не рассказывал. К сожалению, я не могла привезти его в те годы домой, так как на границе была очень тщательная проверка, особенно письменных и печатных материалов. Таможенники нас ощупывали, даже вскрывали спичечные коробки, поэтому,

перечитывая несколько раз этот дневник, я старалась запомнить что, где и когда происходило. Так по памяти я вам расскажу несколько эпизодов из этого дневника.

Кадетский корпус № 1 в сентябре 1918 года вывезли из Лефортово. Сначала это были нормальные пассажирские поезда, где Коля по дороге даже мог прочесть книгу. Но их поезд часто задерживали в пути, они несколько дней простаивали, провизия была уже на исходе. В начале ноября они прибыли в Новочеркасск. Потом их высадили, и они шли пешком до станции Хомутовской. Там они делали передышку и снова шли до станции Качальницкой. Коле тогда было 15 лет, Федору — 13, а Андрею — 11. Все дети очень устали, некоторые теряли сознание. Но им очень помогали их офицеры-педагоги. Потом их поместили в товарные вагоны, и они доехали до станции Тихорецкая. Ночью их срочно подняли, пересадили в другой товарняк и экстренно вывезли в Екатеринодар. В дороге страшно голодали, — многие дети не выдержали, повесились, некоторые бежали. Мои братья тоже собирались бежать, но понимали, что младший брат Андрей не выдержит, а оставить его они не могли. Перед Новым годом, где-то в конце декабря, они добрались до Новороссийска.

Здесь было спокойно, так как город занимали белые войска. Их наконец накормили и даже на Рождество повели весь корпус в театр, где они случайно встретили свою сестру Ольгу Штейп, которую тоже привезли вместе с гимназией, — с тем, чтобы вывезти из России. Она им сказала, что на следующий день ее отправляют неизвестно куда. Девочек вывозили в первую очередь. Они хотели с ней попрощаться, пришли на причал на следующий день, но не нашли ее. Там была давка, паника.

В это время многие болели тифом, умирали, и Коля пишет, что старшие учащиеся каждый день около сарая рыли могилы для умерших. Незадолго до их отъезда заболел тифом Федор, его положили в сарай для

умирающих, ходить туда запрещалось, но Коля и Андрей потихоньку бегали к нему по очереди, носили ему пищу и воду. 15 января 1919 года им было объявлено об отъезде. Но Федор не мог ходить, очень ослаб. Андрей и Коля взяли его под руки и тащили. Павлик им мешал, цеплялся за их штаны, боясь от них отстать. При погрузке на пароход больных не пропускали, и их спросили, не болен ли он. Они ответили, что он сломал ногу и не может идти, а он должен был стонать и говорить «Ногу, ногу... Осторожно!» Пароход сразу же отчалил, так как в город входила Красная армия. Уже шли перестрелки, и некоторые дети погибли при этом.

Перед отъездом моих братьев папа поехал в деревню за мамой с детьми, чтобы она могла проститься с мальчиками. Но когда они вернулись, город был уже занят Красными войсками. Папа с мамой ходили по вагонам, сараям, но поиски их были тщетны. Они видели убитых детей-кадетов, раздавленных, покалеченных. Некоторые из них были живы и страшно страдали в предсмертных муках. Мама на всю жизнь запомнила эту жуткую картину нечеловеческой жестокости. Плакала, думая, что и ее дети тоже погибли. Отец успокаивал ее, говорил, что раз они их не нашли, значит, их успели вывезти. Вместе вести поиски было опасно, это могло вызвать подозрение, и они разделились — отец взял старшую Мусю, а мама — Веру и десятимесячного Леонида. Ходили по вагонам, переворачивали трупы и искали своих детей. Так они продолжали поиски, но недолго, потому что красные войска все прибывали в город, стоял страшный шум, стрельба, около вагонов стояла Красная конница. Муся в своих воспоминаниях писала, что ночью надо было пролезать под брюхами у лошадей — она плакала, боялась.

Но папе с Мусей не удалось избежать ареста. Отца раздели до нижнего белья, а дело было зимой, и погнали вместе с большим отрядом пленных на расстрел к обрыву. Так их вели несколько километров. По дороге расстреливали тех, кто отставал или отходил в сторону. Чтобы спасти Мусю, отец по дороге постепенно снимал с нее красивые вещи и выбрасывал,

разорвал на ней пальто, на голову вместо красивого капора повязал какой-то платок, а потом стал ее оттеснять на край, отталкивать от себя. Она плакала, сопротивлялась, цеплялась за него, не понимая, что происходит. Потом он выбрал момент и подходящее место, где росли кусты, и стал отставать: якобы ребенок хочет в туалет. Когда первый раз отец отошел с ней на обочину дороги, сбоку на лошадях подъехали красноармейцы, стали его ругать и бить кнутами и прикладами. Затем им все-таки удалось отстать и спрятаться в кустах. Отец толкнул ее в яму и сам навалился на нее, и они долго там пролежали, пока не прошел весь отряд.

К ночи они стали пробираться по деревне. Отцу удалось кого-то разжалобить в деревне — их накормили, даже дали две картофелины и кипятку. Ему дали старые лохмотья, и они отправились в город, чтобы встретиться там с мамой. Но от ходьбы у Муси распухли ноги, и она не могла идти. Отец тащил ее на закорках. Красноармейцы прочесывали постоянно лес и все время их останавливали. Отец отвечал им по-деревенски, еле говоря, шепелявя, что-то указывал. Муся возмущенно кричала: «Как ты разговариваешь... Кто тебя так научил разговаривать?»

Ночевать их никто не пустил, и они спали, зарывшись в сено. Проезжающие красноармейцы тыкали штыками в сено — проверяли, нет ли там кого. Муся хотела кричать, а отец зажимал ей рот. Потом они пошли дальше по дороге, и им встретились женщины-красноармейки на лошадях. Отец притворился опять деревенским мужиком, и они пожалели ребенка и посадили Мусю на лошадь. Муся потом вспоминала, как ей было неудобно сидеть без седла. Она ехала лежа на животе и держалась за гриву лошади. Муся капризничала, упиралась, не хотела идти — и, действительно, у нее очень болели ноги, они были распухшие, а у отца уже не было сил тащить ее на руках, поэтому, войдя в город, он посадил ее в витрину какого-то полуразрушенного магазина около железнодорожного вокзала, укутал ее газетами, какими-то старыми обоями, написал ее имя, фамилию и год

рождения; эту бумажку повесил ей на шею и пошел искать маму. Мама в это время тоже разыскивала отца и Мусю, шла мимо вокзала и, проходя, увидела в витрине Мусю. Но так как Муся не могла ходить, а у мамы на руках были Леонид и маленькая Вера, ей пришлось сделать остановку в Новороссийске и устроиться на работу кассиром. Она продала свое обручальное кольцо и сняла комнату. Это продолжалось около двух месяцев. Все это время она узнавала про арестованных.

Как только маме удалось узнать, что их отправили в Москву, она с детьми стала добираться домой в Москву, в товарных вагонах, конечно. В это время, все, кто не успел покинуть Россию, хотели вернуться домой, и при посадке в вагон была ужасная давка, так задушили завернутого в шаль Леонида, моего брата. Мама продолжала путь с умершим Лёничкой, так как похоронить у нее не было денег, а просто закопать на чужбине она не хотела, поэтому и везла его в Москву на семейное кладбище. Ужас потери всей семьи не оставлял ее ни на минуту, и она хотела сохранить хотя бы прах последнего сына. Пассажиры удивлялись, какой спокойный ребенок, никогда не плачет. Это маму еще больше расстраивало.

Отец этот клетчатый плед хранил всю жизнь, и рассказывал нам эту историю, обращая наше внимание на самоотрешенность и духовное величие нашей матери. Он всегда называл ее Усенькой.

Когда она вернулась в Москву, оказалось, что ей негде жить. На Мурашках всё сожгли, а в Клязьме жили чужие люди. Наша дача была вся разгромлена — выставлены двери и окна, остался только сруб, да балки перекрытия, и мама остановилась тогда в Москве в семье брата отца, Андрея Рудольфовича Штейпа.

В то время Андрей Рудольфович лежал в больнице, и в 1919 году он умер (от тифа). Они жили тогда в доме, где был потом клуб завода «Стеол». Мама устроилась на завод Стеол уборщицей в лабораторию, ей дали одну

комнату в общежитии, а потом она отвоевала и соседнюю комнату, так как между ними не было ни двери, никакой перегородки. В коридоре жили 18 семей — 72 человека. Было два туалета и два крана с холодной водой. Одна комната была 20 метров, другая — 16. Но в те годы и это было для нее счастьем. Здесь мы прожили до ноября 1962 года, пока наш дом не сломали и не дали нам квартиру в Кузьминках. К этому материалу я прилагаю план нашего коридора и квартиры.

Всё это время мама продолжала поиски отца и детей. В 1920 году она нашла папу в Бутырской тюрьме.

Сначала его привезли в тюрьму Лефортово, как раз в тот 1-ый корпус, где раньше учились его дети. Папа всегда шутил, что с Лефортово он никогда не расставался, даже в тюрьме. Там он пробыл один год, потом их перевели в Бутырскую.

Он ожидал суда, но свидания ему разрешали. Время было трудное, голодное, транспорт не ходил; и мама пешком от нашего дома до Бутырской ходила и носила передачи отцу. Маме удалось собрать все документы, которые должны были подтвердить, что отец, будучи офицером царской армии, не воевал против Советской власти, то есть не участвовал в Гражданской войне, а только строил железные дороги. Кроме того, всю нашу семью прекрасно знали на заводе рабочие. Мама написала хорошую характеристику и собрала много подписей у рабочих завода. И тогда весной в 1921 году, на Пасху, отца выпустили из тюрьмы. Он, не застав никого дома, пришел в Церковь Вознесения и увидел маму с Мусей и Верой. Девочки не узнали его и подумали, что это дядя Володя, старший брат отца. Раньше отец имел густую золотистую шевелюру, но после двух лет пребывания в тюрьме, он облысел, и больше никогда на его голове волосы не росли. Не знаю, с чем это было связано: то ли тюремное заключение, допросы так сказались, то ли психическое потрясение от потери семьи.

Отец был очень хорошим семьянином — обожал маму. Говорил всегда, что нет на свете второй такой, как его Усенька. Разумно и строго относился к воспитанию детей.

Весной 1921 года отец приступил к восстановлению разрушенной дачи. Вся семья жила до поздней осени на даче. Мама покупала на лето корову в Загорске, пригоняла ее оттуда пешком, держали кур и свинью. Молоко продавали. Отец не раз пытался отстоять хотя бы одну из двухэтажных дач, даже подрался с комендантом, Яковом Никитиным, но ничего не получилось. Папа был под подозрением и всегда имел ограничения как бывший офицер. Ему было трудно найти работу: везде ему отказывали, боялись принимать на работу лишенца — в те годы была такая категория людей — к ней относились священнослужители и многие «люди из бывших», как их называли.

Папе помог устроиться на работу муж Люсиной бабушки, Ольги Рудольфовны, Сергей Васильевич Красильников. Потом отец перешел на работу в дирекцию Северной железной дороги, на должность инженера. В 1922 году родители получили первое письмо из Франции — и, конечно, радости не было конца. Мой отец на фотографии, посланной им в Париж, писал: «Мама встретила меня на пороге, бросилась на шею со словами: “Какое счастье” и залилась слезами радости». Папа рассказывал нам позднее, что мама днем была энергичной веселой, шутила, а по ночам плакала. Осенью 1922 года родилась я, и папа надеялся, что это будет каким-то утешением для мамы и для всей семьи.

В эти годы моя сестра Вера тяжело болела ревматизмом суставов и пороком сердца. Она не могла ходить. Мама вынуждена была носить ее, уже большую, на руках. Транспорт был только конный и очень дорогой. Мама продолжала работать, а Муся оставалась дома с больной Верой.

Папа не отдавал Мусю в школу до шестого класса. Он занимался с ней сам дома. Он все время надеялся, что прогонят красных убийц и насильников и восстановятся прежние порядки. А отдавать этой черни дочку он не хотел.

Поскольку у папы был бесплатный билет по железной дороге, то мама с детьми ездила в Крым, чтобы подлечить больную Веру. Есть фотографии 1926 года, где Вера и я в Евпатории. Это была последняя поездка вместе с мамой.

Это были тяжелые годы, но Рождество и Пасха всегда отмечались. Стол накрывался белой скатертью, ставилась красивая посуда, которой в другие дни никогда не пользовались. Моя мама была очень изобретательной — она сшила нам всем троим платья из марли с оборочками, крахмалила их и нашивала на них аппликацию — зимой снежинки из золотой и серебряной бумаги, а на Пасху разные цветы. И мы всех поражали в коридоре своими нарядами, а обувь для дома она всегда вязала. Эти платья почему-то после смерти мамы мы никогда не надевали. Они хранились у нас в кофре вместе с мамиными вещами — вместе с пледом, в котором мама везла мертвого брата Леонида.

4 апреля 1927 года мама умерла, сразу после операции (у нее был рак матки), оставив отцу троих дочерей: Мусе было тогда 13 лет, Вере — 10 лет и мне — 4 года. Отец так больше и не женился, объясняя это тем, что такой, как мама, на свете больше нет.

Все трудности с хозяйством легли на Мусю — стирка, готовка пищи. Муся рассказывала, что особенно она мучалась со мной: после смерти мамы я была очень капризная, плохо ела. Муся считала, что она очень вкусно готовит, а я отворачивалась. Она меня ругала, кричала, но никогда не била. В 28-м году у нас появилась немка-воспитательница. Помню как мы водили хоровод и пели: «Wir machen, wir machen, wir machen ganzen Tag...». Так мы учили все слова, обозначающие действие (tanzen и другие) подтверждая это

движениями. Она пробыла у нас один год, но она была очень старенькая, и ей трудно было ухаживать за больной Верой, и она отказалась.

Потом у нас жила какая-то очень несимпатичная злая женщина, по имени Мария Григорьевна, с сыном. Она все время хотела его прописать и отобрать у нас одну комнату. Подала в суд, но ей ничего не дали, и после этого она у нас какое-то время жила, скандалила. Она или ее сын торговали конфетами, у нас стояли ящики. Однажды такой ящик был распечатан, и я увидела там много лимонных долек. Я решила сделать доброе дело: набрала полный подол лимонных долек, вышла в коридор и раздала всем детям. О! Был такой грандиозный скандал!.. Мне здорово попало.

Сразу после смерти мамы какое-то время папа меня водил к женщине, которая жила в соседнем доме, где был клуб. Эта женщина торговала монпансье около выхода с завода. Иногда она брала меня с собой. В плохую погоду она запирала меня в своей комнате. Мне было очень страшно, я забиралась под кровать. И вдруг я там обнаружила корзину с монпансье, обваленные в сахаре. Мне показались они какими-то мутными, я начала их облизывать и они заблестели красным и зеленым цветом. Я облизала почти все, но они слиплись, и когда она вернулась, я надеялась ее очень обрадовать, но она побила меня. Мне не было больно, но очень обидно, я забилась в угол и сидела там до папиного прихода. Больше папа меня к ней не водил.

Я очень плохо помню свою маму. Наверное, потому что была еще очень мала. Помню, как мы с мамой ходили в зубному, помню, что мы ехали туда на трамвае «Б», букашке, как ее называли, до Ярославского вокзала, а напротив была Железнодорожная поликлиника. Когда меня посадили на кресло и я увидела страшные трещащие машины, я так перепугалась, что, как только врач пошел мыть руки, я соскользнула с кресла и пулей выскочила из кабинета. Мама меня долго убеждала, что это не так страшно и нужно только потерпеть. Наконец, мы с ней договорились: зашли рядом в магазин и купили

мне серенького зайчика. Уже на кресло я водворилась с зайцем, которого крепко прижимала к груди и, на удивление всех, даже не пикнула. Думаю, что запомнился мне этот случай именно благодаря зайцу, который жил у меня долго — до новогоднего пожара елки. Такая же история повторилась и с мишкой плюшевым коричневого цвета, которого я очень любила.

Еще я помню, но это скорее из рассказов взрослых, в те часы, когда мама после операции умирала, мы сидели дома за столом с тетей Ниной, Вера, Муся и я, обедали. Они шутили, разговаривали, смеялись, а я вдруг вскочила со словами: «Как вам не стыдно смеяться, когда маме так плохо...», подошла к углу с иконами и стала молиться. Очень хорошо помню, как вечером во время ужина вдруг вошел папа и сказав: «Нет у вас больше мамы», прошел в другую комнату к иконам и встал на колени.

А накануне операции, в воскресенье, мы все были у мамы в больнице, ждали внизу, еще не наступило время посещения, а мама стояла наверху на лестнице и махала нам платочком. Я вырвалась, юркнула под рукой швейцара и помчалась вверх по лестнице. Когда я поднялась, я помню, передо мной стояло много женщин, все в одинаковых халатах, и я растерянно искала среди них маму. А женщины приговаривали: «Что, потеряла маму?» Когда я оказалась в ее объятиях, мама почему-то плакала. Потом мы пошли с ней в палату, и она угощала меня круглыми мармеладками в сахаре. Я хорошо запомнила эту маленькую длинную коробочку, которую папа после смерти ее принес вместе со всеми мамиными вещами, с ее вязанием, и завязав в узелок, спрятал в кофр.

Говорят, что, когда мама лежала у нас в комнате на столе, еще без гроба, я все время беспокоилась, что у нее холодные ножки и убеждала всех, что она, хотя и спит, но одним глазком смотрит на меня. Когда утром папа встал, то увидел, что мама была покрыта моим одеялом, а я спала без одеяла

свернувшись калачиком. Значит, я ночью сделала то, что не хотели сделать взрослые.

Все это время я очень хотела, чтобы папа женился и привел мне ласковую маму. Эта идея настолько запала мне в голову, что я решила искать для папы невесту.

У меня была подруга на даче, Нора Фишер, немка, ее мать Лидия Бертольдовна была крупная, полная женщина с очень добрым лицом. Она жила с дочкой, без мужа, рядом в двухэтажной даче. Мы с Норой устраивали разные ухищрения, чтобы соединить их и самим стать сестрами. Папа красиво ухаживал за ней, часто беседовал, но дальше дело не пошло. Когда я подъезжала к нему с этим вопросом, он отшучивался, называя ее великаншей. Однако в 1933 году, когда у меня был острый приступ аппендицита, она меня спасла от перитонита — срочно отвезла в свою больницу (она работала в Боткинской больнице), мне сделали операцию там, и она ухаживала за мной после операции, не отходя от меня целые сутки.

Однажды папа привел к нам в гости очень красивую и нарядную женщину — ее звали Екатерина Федоровна Черницина. На ней была необыкновенная шуба, малица. Помню как папа носился с этой шубой и говорил, что ее нельзя вешать на общую вешалку, а надо найти ей особое место. Потом некоторое время она жила у нас. Но это время было очень безрадостным — какие-то скандалы, она настраивала отца против нас. Настаивала на том, чтобы отец расписался. Особенно она не ладила с Верой и Мусей. В результате чего отец выделил одну комнату для Веры и Муси, а мы остались втроем в большей комнате. Несмотря на это, спокойствие не наступило все равно. Теперь мишенью стала я. Она не жила у нас, но приезжала, как бы в гости. Осенью, в 1935 году, когда я снова начала учиться в новой школе в 6-м классе, меня положили в нервную клинику, где я пролежала до весны.

Да, еще вспомнила, до Екатерины Федоровны к нам приходила очень часто какая то маленькая женщина, которая была влюблена в отца и очень хотела жить с нами. В ее отсутствие папа называл ее малюткой и говорил нам всегда: «Бойтесь маленьких людей, они вредные». Она, в отличие от Екатерины Федоровны, старалась нам всегда что-нибудь сделать — сшить или приготовить и принести нас угостить. Но, видно, отцу она была не по душе, а вот Екатерина Федоровна ему очень нравилась, и он всегда к ней хорошо относился.

Однако, когда меня выписывали из больницы, то врач предупредил о том, что мне нужно спокойствие в семье и, поскольку я очень чувствительна, мои нервы на пределе. Отцу после этого пришлось расстаться с Екатериной Федоровной. Вернее, он продолжал с ней отношения, но она жила у себя, в своей комнате на Садовой, у метро Красные ворота.

Я любила с отцом ездить к ней в гости, так как там я имела полную свободу. Папа был занят с ней, а я с детьми из ее квартиры устраивала бешенные игры — прятки, жмурки, лазили по квартире. Там был большой коридор и, наверное, семь семей жильцов. Коридор был заставлен старыми вещами, имел еще черный выход на лестницу, так что мы там очень хорошо, оживленно могли там играть.

Как-то перед Рождеством, я тогда еще не училась в школе, папа стал освобождать вдруг место в комнате, все передвигать и сказал нам, что он приготовил нам всем общий подарок. Мы думали, что это он под елку освобождает место, спросили его, а он говорит: «Отгадайте о чем я говорю — большой, черный, блестит и на трех ножках». Но никто, конечно, не мог отгадать, а я даже по ночам мучалась этой задачей, а потом решила, что это будет собака без одной ноги. У нас постоянно жили собаки, но больше это были белые, сибирские лайки, и каково же было наше удивление когда отец привез рояль.

Вообще-то, у нас в доме мебель была незатейливая. Я сейчас постараюсь ее описать и думаю, что для Андрюши и Милы (*детей З.Н.*) это будет очень понятно, потому что они, наверное, помнят нашу комнату. Вот дверь, а налево небольшой такой закуток, где висела вешалка, можно было повесить пальто, а внизу поставить галоши, затем старый буфет стоял, после него очень красивая этажерка, плетеная, какая-то специальная под граммофон — там были отделения для пластинок и для нот, затем рояль, по левой стенке это все идет, письменный стол папин со стулом, под окном — кресло, старое, проваленное, но туда садились гости или я во время беседы с папой. Затем был очень красивый — это, по-моему, единственная дорогая ценная вещь — красивый столик из черного дерева, весь резной и маленький столик, на котором стояла огромная, почти до потолка, пальма; этажерочка с книгами, но этажерка была закрытая, с дверцами, а там, где дверь вела в комнату тети Муси (*сестры З.Н.*), была завешена большой географической картой и загорожена сундуком, на котором спала я. Это был тети Нины сундук. Затем стоял гардероб, который перегораживал как бы комнату пополам, за гардеробом папина старая деревянная кровать. Вот и все, а посередине стол со стульями венскими. Перед самой войной папа выиграл на облигации Золотого займа и купил мне маленький диван со спинкой и шерстяное одеяло, а сундук тети Нины к тому времени уже опустел, вещи она раздала все, и его выставили в коридор напротив нашей двери. Андрюша, наверное, помнит его — он на нем вырезал, строил, так он стоял там до самого нашего переезда.

Дачу папа всегда сдавал, а мы жили в беседке — она была очень светлой: четыре окна. Дачу сдавал, так как хотел скопить деньги на мое образование, понимая, что мне помощи не откуда было ждать. Он покупал облигации «Золотого займа 1929 года». Это был беспроигрышный заем, и его всегда можно было продать.

Правда, во время войны их заморозили, и он не мог взять оттуда ни копейки, когда был голод. Облигации были сданы на хранение в сберкассу, и мне их выдали по завещанию после смерти отца. А в 1946 году можно было их продавать, но тогда эти деньги уже ничего не стоили, они были настолько обесценены, что ничего на них купить нельзя было, и мы их истратили с моим мужем Михаилом Цальевичем в течение года, покупая то масло подсолнечное, то буханку хлеба, то еще что-нибудь для Андрюши.

В апреле 1927 года после смерти мамы была сделана фотография: мама в гробу у нас в доме. У гроба стояли мой отец, я, Муся и Вера. Такая фотография у нас тоже есть. Когда я была первый раз в Париже, Коля мне показал эту фотографию. Она была увеличена, а на обратной стороне было написано папиной рукой целое послание детям и некоторые подробности из их жизни и обращение к ним. Это было так трогательно, что я без слез не могла читать. Я переписала этот текст и хочу вам его зачитать слово в слово:

«Милые дорогие мои сыновья, хотелось бы мне настоящей надписью на маминой карточке запечатлеть в вашей памяти некоторые моменты из жизни нашей дорогой незабвенной мамочки. Пройдут месяцы, годы и исчезнут из памяти у близких воспоминания о ней, а мне, быть может, и не придется повидаться с вами, поговорить и рассказать о самом дорогом человеке, который жил для нас всех, страдал при ваших горестях, радовался вашим удачам и мечтал только о том моменте, когда увидит вас и будет вместе с вами.»

Это было лет пять тому назад: мама очень хлопотала (это мои слова, он не мог об этом написать, так как хлопотала она как раз о его освобождении из тюрьмы) и спешно проходила по Сухаревской улице. Ее остановила гадалка и поразила верностью слов: “Ты хлопочешь о муже. Сейчас получишь бумагу за него (хлопочут за него многие) и твое желание исполнится”. Действительно, в тот же день она получила бумагу и ее

хлопоты увенчались успехом, но радость ее была омрачена словами, которые добавила гадалка: “У тебя дети далеко, не беспокойся, они будут хорошими людьми, но ты их никогда больше не увидишь”. Мама не была у нас суеверной, но эти слова запали в ее бедную головку, и она до конца своей страдальческой жизни не забывала их. И в день перед операцией она бедняжка меня спросила: “Неужели я их больше никогда не увижу?” Бедная мамочка, ты, вероятно, предчувствовала это горе... 19 марта 1927 года, уходя на операцию, она остановилась вдруг в дверях, повернулась и говорит: “Или лучше не ходить?..”

«При посещении ее в больнице она часто говорила мне, что не лучше ли не делать операции и вернуться домой к детям. Но трудно было что посоветовать. Врачи говорили, что при удачной операции она совершенно поправится. Первый раз болезнь рака заподозрил доктор в прошлом году в Крыму и сказал маме, что ей надо срочно ехать в Москву и серьезно лечиться. В прошлом году летом ей сделали исследование и ничего не нашли. Зимой она часто показывалась в клинику, в больницу. Одни врачи смотрели и говорили, что нужно срочно делать операцию, другие — что, может быть, уже поздно и тогда не надо. Умерла она через два-три часа после операции у меня на глазах, а в воскресенье, 3 апреля, я, Муся, Вера и Зина навещали ее в больнице. Она говорила, шутила, радовалась на Зину, как та быстро бегала и разумно говорила. Смотрела на Веру и вспоминала привычки Федора. Она провожала нас всех до швейцарской, торопила, чтобы мы не опоздали на поезд в Москву, так как больница находилась по Ярославской железной дороге, на 3-ей версте. Одевши нас, она как-то тяжело вздохнула. Я спросил: “Ты что?”, она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Условились, что я приду в среду. Она только удивилась, что плохо слушали у нее сердце перед операцией, не обратили внимания, что в ванной комнате ей сделалось дурно и она потеряла сознание. В понедельник я после занятий пошел в больницу. Когда меня к ней допустили, она была как бы в

забыть. Доктор взял ее за плечо и сказал: “Евдокия Андреевна, к вам муж пришел”. Когда мама открыла глаза, я сразу понял, что с ней что-то случилось плохое. Она только сказала мне: “Как бы хотелось видеть всех детей — маленьких жаль и тебя жалко”, и скончалась — вероятно, ей дали много хлороформа: она была совсем коричневой, и только в гробу отошла. 5-го я привез маму на квартиру, положили в гроб и хоронили 8-го на Семеновском кладбище. Отпевали в церкви Вознесения. Теперь несколько моментов из ее жизни. 12 мая этого года мы должны были справлять с ней 25-летний юбилей нашей встречи в Сокольниках. Это число мы всегда праздновали с ней вместе. Очень любили вспоминать 1902 год. И когда она проводила меня на войну, в 1904, то осталась на руках с маленьким Колей в ожидании рождения Федора. И как только было объявлено “Замирение”, она не выдержала и приехала в Харбин с двумя маленькими детьми. В 1906 году мы вернулись в Москву, родился Андрюша. На его крестинах было решено купить землю в Клязьме. Из последних воспоминаний — это был 1922 год. Я никогда не забуду, как радостно мама встретила меня в тот день, когда было получено первое письмо, что вы живы. Она бросилась мне на шею с письмом в руках со словами: “Какая радость!” и залилась слезами радости, не могла говорить. Как печалилась она за вас всех, когда вы писали про тяжелую работу: таскали камни, вили веревки. И как рада была, что Коля стал хорошо зарабатывать, что вы приобрели комнату, переехали все в Париж, Федор учится, становится инженером, Андрюша пошел учиться. Но постоянно радость ее омрачалась словами и предчувствиями: “Должно быть, их больше не увижу никогда,” — говорила бедная мамочка. Мы никогда не забудем самоотверженной любви ее к нам. Пусть память твоя будет священна. Порадуйте ее, дети, берегите себя, будьте добрыми и хорошими, не забываете маму, Мусю, Веру и Зину.

Любящий вас Папа.»

На могиле мы никогда не говорили речей, в основном, работали, кое-что вспоминали. Потом отец нас прерывал и говорил: «Все. Давайте встанем и помолчим. Послушаем птиц, что они нам расскажут о наших близких». Конечно, каждый по-своему думал и вспоминал родных, а я вслушивалась, представляла, как мама смотрит на меня и радуется, что я выросла, фантазировала, что они могут сказать нам. Иногда придумывала, что я слушала и начинала рассказывать папе, он делал вид, что верит. Правда, папа не всегда был так сентиментален. Помню, когда тетя Нина плакала, стоя на коленях у могилы тети Оли после ее смерти и убивалась сильно, он ей говорил: «Усопших надо всегда добром вспоминать, а вот думать надо прежде всего о живых».

Мне хочется немного рассказать о моем отце и о наших с ним отношениях. Меня просто переполняют эти воспоминания. Некоторые вещи я вижу очень подробно, слышу целые высказывания отца. Мне кажется, что даже иногда слышу его голос, а иногда мелькают отдельные блики воспоминаний. У меня с отцом была какая-то необыкновенная взаимная любовь. Он меня всегда называл Зика, а если называл Зиной, значит, был чем-то недоволен. Мы всегда были с ним вместе. На даче мы вместе работали: убрали участок, делали ремонт, зачищали крышу от ржавчины и красили ее, а зимой счищали с крыши снег вместе. Потом я уже залезла одна, делала это сама и просила папу убрать лестницу, и с таким удовольствием с самой верхушки крыши я съезжала и падала в сугроб! Лазили вместе под дом, и он объяснял мне расположение балок и ступеней, на которых стоит дом, проверяли, не завелся ли грибок, счищали его, соскребали и чем-то смазывали. Заставлял меня делать чертежи расположения улиц, дома или просто по памяти какой-нибудь местности — после того как мы с ним путешествовали. Он во всех делах привлекал меня. Не могу сказать чтобы я делала все с удовольствием, конечно, нет, но видя, как ему это нравится, старалась изо всех сил.

Когда я стала вести хозяйство, он меня учил как вести учет, экономить, разумно и разнообразно составлять меню, хотя время было трудное, почти голодное. Он всегда приговаривал: «Ваша мама из говна умела сделать конфетку». И говорил, что приготовить, когда все есть — дело нехитрое, пустяковое, а вот проявить творчество и из ничего сделать вкусно и красиво — это талант, тут надо очень постараться, а если человек творит, он и сам счастлив, что бы он ни делал; и очень был недоволен, отказывался от еды, когда я плохо сервировала стол, а я плакала, потому что переживала, что он из-за меня, придя с работы голодным, не садится за стол, что я такая бестолочь, никак не научусь делать такое пустое дело. Но потом он умел этот инцидент как-то быстро снять. А уж как радовалась я, когда он шутил. Например, сядет за стол и скажет: «Ну, не мешало бы еще подвязать и салфетку во время еды» и добавит: «Хотя англичане никогда не пользуются салфетками, они и без них делают все это аккуратно», и улыбнется. Это было очень смешно в наше время — думать о салфетках — и поэтому я смеялась, а тем более что была такая трудность со стиркой. Или скажет: «Не важно, что мы едим, но зато за красиво обставленным столом». Бывало, что он меня хвалил за приготовленное блюдо, но это было в начале моего хозяйствования и очень редко. Но зато как было приятно — я улыбалась, смущенно опускала голову, понимая, что это далеко не так. Иногда я брала пищу в столовой, которая была у нас во дворе, но должна была ее чем-то приправить и украсить, как папа говорил, сделать ее более-менее съедобной. Когда я только начинала сама готовить, мы с ним стряпали вместе. Долго мучались с примусом: папа чинил его, прочищал и тут было много курьезов; шутили, мечтали приготовить что-нибудь вкусно, а получалось ужасно, и папа, качая головой, приговаривал: «Хорошо, конечно, когда душа мечется в мечтах, но желательно, все-таки чтобы конец был трезвым». Никто из детей нашей семьи не был избалован, и даже я. Например, если ты не доедал вовремя второго, то был лишен сладкого, на что отец мог сказать по-латыни *carpe diem*, что значило: «Лови момент», одним словом, не зевай.

Я очень рано научилась читать, не помню, кто меня этому научил, но это было задолго до школы, и каждый день на ночь мы все девочки по очереди должны были читать с папой Библию, Новый или Старый завет, не помню. Обычно начиналось это с меня, так как я была младшей и мне надо было раньше всех лечь спать. Сначала читала я: «Боже, слава Тебе, Боже». Перекрестившись перед иконами и пожелав всем «спокойной ночи», поцеловав папу, шла спать. Я читала, мне кажется сейчас, машинально, но очень бегло. Ничего там не понимала, задавала папе много вопросов. Папа тогда отвлекался — рассказывал, объяснял мне. Это мне больше нравилось, так как скорее проходило мое время — 15 минут. С Верой у него проходило все спокойно, а вот с Мусей начинались неприятности: она не задавала вопросов и читала очень быстро, он ее сам останавливал и начинал спрашивать. Она, видимо, тоже не все понимала, а папа возмущался и говорил, что это очень глупо, если не знаешь и не спрашиваешь. Он заставлял ее внимательно перечитать еще раз. Она упрямствовалась, чтение задерживалось, а иногда заканчивалось скандалом и даже наказанием. Я хотя и была уже в кровати, но не могла уснуть и переживала за обоих — упрашивала Мусю прочесть, сделать то, что говорит папа, а папе говорила, что она, наверное, очень устала и тоже хочет спать: «Смотри, у нее глазки уже закрываются». Это его умиляло, и он, махнув рукой, оставлял ее в покое.

А вот в отношении аккуратности и порядка он был требователен к нам до непримиримости. Любое нарушение вызывало в нем такое огорчение, что он восклицал: «Видел бы ваш дед такой кавардак!». Он просто болезненно не мог переносить беспорядка... Все мы, в первую очередь, он сам, конечно, ложась спать, должны были привести в порядок свою обувь, чтобы она блестела, потом умыться, почистить зубы и свою одежду сложить так аккуратно, чтобы утром даже в темноте, мы могли все одеть по должному порядку. В войну это нам очень пригодилось, когда не было электричества.

Когда я стала постарше, лет десяти, я должна была каждый день подшить к своему платью белый воротничок, ленты из кос должна была намотать на спинку стула (таким образом они разглаживались), а на стуле, который стоял у постели каждого, должна была висеть одежда, а у папы накрахмаленная манишка, лежать чистый носовой платок и носки и, конечно, всегда заштопанные, без дырок. Это все я заготавливала заранее, днем.

Он учил нас очень многому — например, делать книксен: стоять прямо, не расставляя широко ноги, колени всегда держать вместе и говорить прямо глядя в лицо тому, с кем говоришь, а не походя, боком, через плечо или, не дай Бог, в спину. Следил очень за четкостью речи. Лучше всех говорили Муся и Вера, я же очень спешила, иногда проглатывала слова и окончания, на что он говорил спокойно: «Поспешность нужна только при ловле блох, а речь должна быть плавной и обдуманной».

Папа был очень прозорлив, внимателен — он видел и чувствовал все, казалось, даже затылком. Все, о чем он нас предупреждал, всегда сбывалось, если не сразу, то потом. Уже взрослой я часто вспоминала и удивлялась этому.

Часто употреблял он отдельные строки или целые отрывки из литературы, иногда по-латыни. Всегда это говорилось к месту. Например, помню, как он говорил по-латыни: «*homo homini lupus est*», что значило: «Человек человеку волк», когда это касалось какого-нибудь доноса или жестокости, ну и много других фраз, сейчас не могу припомнить. Или я слышала от него, задолго до прочтения мною «Капитанской дочки», такую заповедь: «Береги платье снову, а честь смолоду».

Отец прожил интересную жизнь и был оптимистом, несмотря на все трудности. Он казался старше своих лет, но всегда был аккуратный, подтянутый и очень энергичный — наверное, сказывалась военная выправка. Хотя гардероб его был невелик: у него был черный парадный костюм

(тройка, конечно), две манишки с манжетами. Костюм надевал только по праздникам и в те дни, когда читал лекции в институте, а в остальное время он носил толстовку или сюртук, двое брюк и два полотняных костюма для лета. Он всегда носил фуражку с козырьком и кокарды, даже зимой. Когда были уж очень холодные дни, под фуражку надевал черные наушники, которые сшила ему я. Дома зимой он носил маленькие шапочки, которые тоже я шила для него и дарила ему на праздники. Курил папа какой-то очень ароматный табак, который всегда держал в красивых, расшитых мною мешочках; он делал самокрутку из специальной тонкой бумаги и вставлял ее в мундштук. Курил только дома и очень мало — одну, две в день. На моей памяти, он всегда носил пенсне, а в кармане куртки серебряные часы на золотой цепочке, часы фирмы Павла Буре. А еще он очень любил жилетки носить, которые я шила ему из старых вещей или меха. На ногах всегда были штиблеты — это такие ботинки, где шнуровка не в дырочки, а зацепляется за крючки, ну и, конечно, нижнее белье было раньше льняные рубашки и кальсоны, а зимой то же самое, только шерстяное. Тогда не носили ни маек, ни трусов. Простите за такие подробности, но мне хотелось нарисовать семейный быт тех времен.

Да что и говорить, папа был высокий, статный, красивый, я бы даже сказала, с импозантной внешностью. Женщины были от него без ума, многие в него влюблялись. Он отлично танцевал, умел очень красиво ухаживать за дамами, всегда был галантен, умел сказать комплимент, с почтением раскланивался с женщинами, поэтому, не понимая его, деревенские женщины нашего коридора называли его бабником и не могли взять в толк, к кому же он особенно благоволит. Когда он здоровался с мужчинами, то только приподнимал фуражку и слегка кивал головой. С какой-то особенной теплотой и вниманием он относился к беременным женщинам. Помню, когда Миля была в ожидании рождения Люси, он, нежно поглаживая ее животик,

говорил: «Сейчас твое дитя ты носишь под сердцем, но оно навсегда останется внутри тебя, в твоём сердце, береги его».

Благодаря своему образованию, воспитанию, он умел увлекательно рассказывать — быстро, прямо-таки на ходу, сочинял четверостишия, свободно говорил на двух языках — французском и немецком. Он научил даже маму говорить по-французски, а нас учил говорить по-немецки. Мой брат Коля, когда я была в Париже, рассказывал мне, что когда он закончил первую школу, в Болгарии, им предложили на выбор после окончания поехать либо в Америку, либо во Францию, Коля собрал всех братьев и они, посоветовавшись, решили выбрать Францию только потому, что родители знают французский и им будет легче найти, да это и ближе к России. А нас он с немецким языком ну просто замучил — строго и терпеливо выдерживал каждый день в неделю, когда мы все должны были говорить только по-немецки. Мы часто не понимали многого, просили перевести, но он как будто нас даже и не слышал, отмалчивался и всё.

Отец был очень музыкален, любил особенно Бетховена и очень часто, когда он бывал на концерте или слушал пластинки (а у нас были очень хорошие пластинки) с великими исполнителями арий: Смирновым, Неждановой, Шаляпиным и другими, он как будто куда-то проваливался, отключался, становился каким-то далеким и чужим. Мне это не нравилось и даже пугало. Он просто страдал, что мы все в маму и не имеем слуха, говорил: «Слон на ухо наступил». И еще: «О, вы лишены самого прекрасного, и это можно восполнить только поэзией. Но не знаю, услышите ли вы ее без знания музыки, сомневаюсь».

Папа всех нас отдал учиться музыке, но напрасно. Кажется, только Вера еще более-менее делала какие-то успехи, а вот у меня занятия шли с большим трудом. Я готова была делать что угодно, только бы не выслушивать замечания учительницы. Она была, правда, очень симпатичная.

Я, вместо занятий с ней, часто помогала ей по хозяйству, бегала за нее в магазин и заверяла ее, что уж в следующий раз я обязательно подготовлюсь к занятиям. Хорошо, что лет через пять папа понял, что толку не будет и не стоит нас мучить напрасно.

Я нисколько не преувеличиваю своих рассказов о музыкальности семьи с папиной стороны. Очень часто тетя Нина, сестра папина, говорила: «Вот, Коля, если бы ты учился у Рахманинова, в Институте благородных девиц, ты бы был прекрасным музыкантом», на что он, слегка улыбнувшись, отвечал: «Ты, Нина, склонна к преувеличениям и, самое главное, видимо, что тогда я не услышал бы голоса стольких детей, а каждый ребенок создает новую жизнь, новый свет и новую песню».

Он хорошо знал литературу — читал и сам сочинял стихи. Даже в советское время он все время читал. Тогда выходили в разных журналах «Порт-Артур», «Пятьдесят лет в строю», и, помню, читал он «Тихий Дон» и «Поднятую целину». Его друг, Максимов, тоже бывший военный, удивлялся этому. Помню, когда они беседовали, я слышала разговор между ними, он говорил: «Как это ты читаешь такую пролетарскую литературу? Там много предвзятого...» Папа говорил: «Да, я согласен, но под каким углом зрения рассматривать все это, надо уметь видеть между строк». Вот эти вещи, когда я слышала, были мне совершенно непонятны. Я брала книгу и старалась что-то найти между строк, но ничего не находила. Потом я подумала, что это, наверное, очередная папина шутка, но дискуссия их была такой серьезной, что я стала сомневаться и однажды, в одной из наших бесед, я набралась смелости и спросила папу, как это он может видеть между строк и почему у меня это не получается.

Помню как мы ходили с папой на концерты в консерваторию и зал Чайковского. Муся с Верой высиживали спокойно, а я часто под разными предлогами выскакивала в фойе, бегала там, пряталась за колоннами, за что

папа меня называл разбойницей и говорил, что меня следует отдать в кадетский корпус. А в театр мы ходили регулярно, у нас всегда были абонементы в Большой театр, мы на дом получали открытку с сообщением о спектакле. Я прослушала все оперы и пересмотрела все балеты по несколько раз. Первый раз я слушала «Садко», а в театре была значительно позже и смотрела «Синюю птицу».

В театр я всегда ходила с большим удовольствием, а потом все эти сцены я разыгрывала в коридоре. Собирала всех детей, каждый приходил со своей скамеечкой или табуреткой. А собирались мы или напротив нашей двери, когда папы не было дома, или в конце коридора, где больше было места. Но меня вариант напротив нашей двери устраивал больше, потому что я могла выскочить из своей двери уже в полном снаряжении. Сначала дети дрались между собой, спорили из-за мест, толкались, пока усаживались, но когда я выходила, завернувшись в простыню или набросив на себя что-нибудь просто несусветное — скатерть бархатную или еще что-нибудь, надев Верины туфли или длинную юбку, все они замирали.

На даче я тоже устраивала такие спектакли. Для этого мы строили волшебные шалаши из веток между липами, которые росли у забора, ближе к Ленточке, но там было помещение маленькое и не помещались все дети, и папа предложил мне тогда сделать сцену, где было много деревьев и рос газон, это в передней части участка, ближе к железной дороге. Это уже были серьезные сценки. Между деревьями вешались простыни и одеяла, а публика была взрослой, не только дети. Папа поощрял это мое увлечение. Он приглашал друзей по даче — это была француженка Лемерсье, Каменские, что жили напротив станции, на нашей стороне, Быковы, которые жили на углу улицы Куйбышева напротив поворота в палатку, что на футбольном поле, ну и дачники, конечно. Кстати, они все потом пострадали от репрессий, исчезли куда-то.

Когда мы к ним ходили, пока взрослые вели свои переговоры, мне разрешалось пастись в их садах и есть ягоды и фрукты сколько угодно. О, как же я объедалась!

А еще я страстно любила танцевать. Папа и это занятие поощрял и говорил, что в танце раскрывается душа человека, вот только нельзя было сидеть и ничего не делать. Тут он начинал так возмущаться! Или когда я просто долго болтала с подругами...

У меня было много друзей, приятелей. Скорее, больше мальчиков — они были смелее и больше подходили для моих рискованных проделок, но близкая подруга всегда была одна в разные периоды жизни. По дому — соседка Маша Куликова, в школе — Мара Комаровская, в институте — Рита, в другом институте — Татьяна Александровна, в армии — Тамара, на даче — Лида Никитина, на работе — Катюша и Людмила Карловна и, наконец, Люба, и под старость осталась одна Клавдия Ивановна. А вот Таню Спиридонову я даже не знаю как назвать — я ее просто очень люблю, как родную, ведь она моложе Милы, а потянулись мы с ней сразу друг к другу и вот уже двадцать лет длится наша любовь. Странно, конечно, при такой разнице в возрасте.

Папа мне всегда говорил: «Дружи с бедной девочкой, с заплатками, помоги ей, если можешь» и прибавлял, что кто-то, не помню кто, говорил: «Богатство — это воровство, это обязательно за чей-нибудь счет. Когда вырастете, то поймете, что счастье совсем в другом — в собственной доброте и достоинстве». И к этому читал стихи, помню такую строчку: «Огнем добра пали сердца других и не сгорай ни разу сам».

Помню, какое действие произвели на меня «Тристан и Изольда», а особенно «Лоэнгрин» Вагнера. Я и сама придумывала инсценировки, режиссировала какие-то сценки, жесты декламации, падала мертвой. Так, например, в своей пьеске, которую назвала «Антонов огонь» (так раньше

называли заражение крови). Я в детстве была небольшого роста, худенькой, маленькой, с печальными глазами, на вид очень тихой и скромной. Такой меня воспринимали окружающие, на что папа говорил: «О, если бы вы знали какой бесенок сидит в этом хрупком и нежном цветке...»

А теперь я снова хочу вернуться к дневникам и рассказам моих братьев, о их скитаниях на чужбине. Еще раз повторю, что привезти его дневник я не могла из-за строгого контроля на таможне, но мне удалось кое-что запомнить из дневника Коли и его рассказов.

Итак, в начале января их вывезли из Новороссийска. Как только вышли в море, поднялся сильный ветер, волны заливали палубу, многие дети погибли, потому что их тошнило и они выходили на палубу, а там не могли удержаться. Преподаватели их к ним были очень внимательны, они сами лишились семей и выехали, чтобы спасти их, но многие кадеты не могли выдержать — вешались, бросались в море, никто не знал, куда они едут, никто не хотел их принимать. Они подходили к берегу, но им отказывали. Заболевших тифом сразу выбрасывали за борт. Они очень голодали, так как у них не было с собой никакой провизии, по дороге им давали только по одному сухарю в день и несколько глотков воды. Чтобы сохранить силы, они лежали без движения.

Наконец, привезли их в Турцию, после всех мучений. Они, грязные и ослабшие, были приняты англичанами. Они снимали с себя вшивую одежду и бросали ее в костер, проходили все через санпропускник, больных не пропускали и неизвестно куда отправляли. Наши братья очень волновались, потому что начинал заболеть Павлик. Они получили новую, чистую одежду, построили своими силами палатки на голой площадке и расселились группами. Павлик очень боялся спать без Коли, с чужими маленькими детьми. Их окружали дикие звери, которые ночью подходили к их жилищу, особенно его пугали змеи. Сначала Павлика Коля брал к себе в палатку после

проверки, так как не разрешали брать из разных групп, и он спал в корзине под кроватью Коли. Потом Андрюша сколотил ему ящик, и Коля получил разрешение у начальника лагеря держать Павлика у себя.

Англичане хотели сделать их своей армией, но видя, что это очень долгая история, отказались от их обеспечения. Тогда их преподаватели обратились в организации разных стран с просьбой оказать помощь детям. И на ассигнования эмигрантов из России была открыта гимназия в Болгарии, там учились все мальчики до 16-ти лет. Они должны были сами себя обслуживать и в свободное от уроков время выполнять разные работы, чтобы иметь личные деньги.

Коля учился в гимназии всего несколько месяцев и по окончании, когда ему исполнилось 16, ему предложили ехать на работу во Францию или в Америку. Он собрал всех братьев, и они на совете решили все ехать в Париж, потому что вспомнили, как мама шутила всегда: «Как поедешь в Париж, так угоришь».

Так Коля первый уехал на работу на юг Франции, недалеко от Марселя. Год в деревне он работал грузчиком, получал гроши, но каждый месяц покупал марки и отправлял братьям письма. Он им писал, что разыскивает родителей, что живет хорошо и ждет их к себе. В 1922 году он приехал в Марсель, у него в кармане было 20 франков. Прошло несколько дней, пока он нашел работу — грузить уголь на железнодорожной станции, но ему негде было жить, первое время он ночевал прямо на вокзале, потом он встретил русского эмигранта, работавшего там же, и тот ему предложил ночевать вместе с ним в разных вагонах, которые стояли на запасном пути. Так они вместе искали каждый день новый вагон, где можно было переночевать. Это было очень трудное время, и он не мог помогать братьям.

Тогда он нашел другую работу на заводе, где делали автомобили, он отливал шины. Это была вредная работа, но за нее хорошо платили. К нему

приехал Федор, они жили в общежитии, которое получил Коля на заводе. Федор поступил учиться в университет, а вечерами они с Колей подрабатывали грузчиками в порту и другими работами. На автомобильном заводе Коля заинтересовался машиной, стал вечерами учиться на курсах, вскоре ему доверили проводить испытание новых машин, и он начал немного ездить, но на заводе было большое сокращение и, конечно, Коля, как русский, попал первым под него.

В 1925 году он решил попытать счастья в Париже, куда приехал, имея в кармане 100 франков, долго искал работу, потом устроился на автобазу мойщиком машин. Надо было срочно получить документ на вождение машины. Он уже к тому времени хорошо знал устройство машины и умел ее водить, но не было документа. Он пошел на курсы и хотел сдать экстерном, но его не допустили, потому что он русский. И снова ему помогли русские эмигранты. Они написали ему письмо хорошее о нашем отце — чем он занимался, какую он вел службу и т. д. Он сдал экзамен и стал работать на этой базе на такси.

В те годы люди меньше пользовались такси, и все деньги, которые он зарабатывал, ему приходилось платить за аренду машины. Потом он накопил денег и купил свою машину, но машина была маленькая, часто надо было делать ремонт. Через год он продал эту машину и купил лучшей марки с большим багажником. Работать приходилось днем и ночью, а спать по четыре часа в день. Кроме того, в эти годы в Париже было очень много ограблений — шофера убивали, а машину забирали себе. Многие из его друзей так и погибли. И так он пятьдесят лет просидел за рулем.

В 1926 году Федор с золотой медалью окончил университет. Он защитился блестяще, но ему не дали первого диплома, так как он был русский. Первый диплом дали французу, а ему второй. И в этом же году они приехали в Париж к Коле. В 1926 году в Париж приехал и Андрюша, окончив

гимназию в Болгарии и потом отработав на юге Франции в деревне плотником. Плотницкому делу он научился еще в Болгарии, когда ходил на заработки по выходным дням. Сначала он сбивал ящики, а потом стал делать несложную мебель. Наконец, после четырехлетней разлуки, три брата собрались вместе, сняли большую комнату и жили в ней до 1928 года.

Теперь слово в слово из писем моего брата Андрея: «Да, наша жизнь не всегда была веселой, но у меня сохранились очень хорошие воспоминания. Мы жили, три брата, так дружно, в таком согласии... Никогда не спорили, друг друга уважали и старались поддержать. У Коли был прекрасный спокойный характер, он очень добрый и рассудительный, нам всегда напоминал отца. Умел шутить с серьезным лицом, а мы умирали со смеху. Федя, напротив, был очень вспыльчивый, но был всегда первый затейник всех дел, пойти ли в театр, на выставку или какое-нибудь еще предпринять дело. Это был очень разумный организатор и веселый. А я, наверное, был самый плохой: всегда суровый и консервативный, но они меня любили и внушали мне, что у меня доброе сердце, а суровость это только внешнее качество. Я им за это очень благодарен, иначе я себе казался очень плохим, да к тому же маленького роста, от чего я все время страдал. Коля и Федя были так добры, что они мне сказали: “Ты должен закончить среднее образование и, может быть, пойти дальше, если захочешь и будешь стараться. Мы сейчас оба работаем и можем тебе помочь.” Благодаря им я поступил в гимназию и в 28-м году ее окончил. В этом же году Коля женился на испанке Монике, и мы с Федей остались одни в этой комнате, но не надолго. Во время каникул я нашел интересную работу чертежника и осенью поступил в инженерную школу. Мое положение немного улучшалось. Мне вскоре назначили стипендию. В конце 28-го года приехала Лёля из Сербии. Она училась там в пансионе. Она получила очень хорошее образование и воспитание, была очень благородна. Федя устроил Лёлю в одну французскую семью как даму-компаньонку, где она научилась говорить по-французски.

Без этого никуда на работу не брали. Через год она вернулась к нам и нашла себе работу в бюро — печатать на машинке. Мы повесили простыню и сделали за этой ширмой будуар для Лёли. В это время я учился в инженерной школе, с большим трудом. Особенную трудность представлял для меня письменный экзамен на французском языке. В 30-м году к нам приехал Павел. У нас была одна комната, маленькая кухня и уголок с умывальником. Жить вчетвером стало очень тесно. У меня было много работы и занятий. Мне нужна была тишина, а компания была слишком шумной и веселой. Федя и Павлик много шутили и смеялись. Я их покинул и перешел жить в студенческий дом. Когда приехала Лёля, я сделал табуретки, большой стол, кое-что для кухни, какую-то мебель, а Федя сконструировал душ от умывальника, и тогда мы могли по очереди принимать душ дома. Когда Коля от нас ушел, он передал книгу расходов мне. Он вел ее очень аккуратно, записывая туда все подробности наших заработков, нужд планов и расходов. Я вел ее менее старательно, иногда что-то забывал. Когда я уходил, я передал ее ведение Лёле. Очень жаль, что эта книга не сохранилась, хотя мы ее берегли и Коля всегда говорил, что мы этот отчет представим папе. Он всегда больше всех нас верил в наше возвращение в Россию. Книга была у Лёли и сгорела, видимо, во время пожара вместе с моими сбережениями. В 31-ом году я получил мой инженерный диплом — счастливый, полный надежд и планов, но все это было не надолго, так как нигде не мог найти работу. Повсюду, где бы я не представлялся, мне отказывали. Все мои поиски были безуспешны. В это время во Франции был сильный экономический и финансовый кризис, но я не отчаивался перед новым препятствием в жизни, вспоминая папины слова: “Если тебе случится потерять в жизни одну ногу, то скажи себе всегда, что ты счастлив, ты бы мог потерять обе ноги”. И я поступил как простой рабочий в гараж качать бензин. На работе мне дали две комнаты. Федя и Павлик пришли жить со мной. Павел работал со мной вместе. Мы работали с ним в разные смены, по очереди и делали порядок дома и в кухне. Мы мечтали с Федей открыть нашу собственную фирму,

когда закончится кризис, но наши мечты еще раз не увидели светлого дня. 1-го ноября 1933 года умер Федя от гнояного аппендицита. Операция была слишком поздно сделана. Он очень страдал. Мы с Колей еле удерживали его на кровати. На его похороны пришли все его сотрудники — около пятидесяти человек. Все присутствовали на церковной службе и проводили его на кладбище. Мы — три брата и Лёлин муж — несли гроб его на руках до самой могилы. Я должен вернуться немного назад. В 1932 году Лёля вышла замуж за Фединоного друга Николая Петровича Толстого, и в 1932 году у них родился сын Пётр. Они купили маленький домик с садиком в 30-ти километрах от Парижа, на опушке большого красивого леса, где Лёля вела спокойную, счастливую жизнь. Они очень любили друг друга и были счастливы. Итак, я продолжаю. После смерти Федеи, я оставался жить с Павлом до 1937 года. У нас был последний и единственный выход — принять французское подданство, что мы и сделали. Мы отбыли полтора года на военной службе и вернулись в 1939 году. И тут я начал работать инженером. И снова я был счастлив — у меня была интересная работа, и я много мечтал, стал хорошо зарабатывать на мою жизнь, даже начал делать сбережения на свадьбу. В это время у нас была двухкомнатная квартира в университетском квартале на левом берегу Сены, около собора Нотр-Дам. Утром, когда погода позволяла, я ходил на работу пешком. Мое бюро было в центре Парижа, за 100 метров от театра Гранд Опера, на правом берегу реки и около 3-х километров от моего жилья. Это была прекрасная прогулка. Рано утром на улице было мало народу, воздух свежий и чистый. Я часто менял свой маршрут: у меня было много выбора — три моста, чтобы перейти на другую сторону, но я больше всего любил Новый мост, где был убит Генрих IV, где и сейчас стоит конная статуя. Потом я проходил мимо Лувра, театра Комеди Франсез, пересекал небольшой сад. Я сохранил прекрасные воспоминания об этом счастливом времени. Когда, Зина, ты будешь в Париже, мы обязательно пройдем с тобой весь этот путь и потом побываем в Лувре. Я очень хорошо и подробно смогу рассказать тебе о каждой картине

Лувра. И вот новая катастрофа — мобилизация, через 24 часа надо представиться в полк. Мой начальник пожал мне крепко руку и пожелал быстрого возвращения и без царапин. Потом я попрощался с Колей и помчался прощаться с Лёлей. Ей я оставил свои экономии, сбережения, которые она обещала закопать под окном, если она покинет дом. В сентябре 1939 года я пошел на фронт. Настоящая война началась у нас в мае 40-го. Немцы нас разбили за один месяц. Я помню, что 13-го июня мы были около Парижа и сдали нашу столицу без всякого боя, чтобы сохранить ее от разрушений. В эту ночь наш полк отступал на юг Франции, и мы остановились в лесу Сенар, недалеко от дома, где жила Ольга. Я попросил разрешения отлучиться. Ночь была очень темная, я выбежал из леса и быстро направился к ее дому. Я громко звал их, никто не отвечал, тогда я перелез через забор и сильно стучал в ставни. Мой шум разбудил соседа, который высунулся из своего окна и сказал мне, что накануне они уехали на юг Франции. Позднее, после войны, в 1941 году, мы с Жермен поехали посмотреть, что там стало. Картина была печальная — забор опрокинут, ветки деревьев сломаны, и от дома осталось только две ступеньки из цемента и куча черного пепла. Соседи решили отомстить за то, что муж Ольги, Николай Петрович Толстой, пошел служить в немецкую армию, уверенный в своей идее освободить Россию от коммунизма. Он всегда мечтал вернуться в свое поместье, где-то под Тулой. Мы узнали позже, что они бежали в США, так как их преследовали. Больше мы о них ничего не знали. Во время войны я познакомился с Жермен в госпитале, где она работала медсестрой, и мы много переписывались, каждую неделю я получал от нее письмо, а иногда и два письма. Когда мы встретились после войны, мы так хорошо знали друг друга и понимали, что решили повенчаться в 1941 году. В 43-ем появилась Франсуаза. Время было очень тяжелое. Не хватало пищи. Мы так похудели, что еле передвигали ноги, как тени. Оставались кожа да кости. Зимой мерзли от холода. Мы получали 300 кг угля в год и бомбы на голову. Помню, как в 1944 году, когда Франсуазе было полтора года, раздался взрыв бомбы. Я

открыл окно, и меня волной отбросило в другой конец комнаты. Бомба упала на дом напротив и сожгла его. Я взял Франсуазу на руки, и она, первый раз увидев пожар, воскликнула: “О! Как красиво!” Когда я женился на Жермен, у нее была дочь Иветт от первого брака. Я к ней очень привязался, много помогал ей с уроками и полюбил ее как родную. В 48-ом году мы жаждали вдохнуть немного свежего воздуха и переменить стены, которые мы видим целый год, и решили купить кусочек земли. Это был маленький участок, но огорожен, совершенно изолирован и в очень хорошем состоянии. Посередине шла дорожка, которая разделяла сад на две части. Направо был огород, налево — много фруктовых деревьев, росли яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы и вишни. В глубине сада был маленький домик, одна комната и терраса, где можно было делать кухню. В первый день, когда мы получили ключи, мы нашли вишневое дерево, всё покрытое плодами. Это было так красиво, что Франсуаза, ей тогда было пять лет, не разрешила нам трогать фрукты. Для нас, городских жителей, это был настоящий рай, и каждый конец недели мы проводили в нашем саду. Мне кажется, что я могу сказать, что это был период один из самых счастливых в нашей жизни. Потом мы начали очень экономить деньги, чтобы заплатить долги, так как для покупки надо было занимать деньги. Когда долг был погашен, нужно было продолжать экономить для постройки дома, и я начал чертить планы и рассчитывать наши возможности — доходы, расходы. Тут я вспоминал всегда нашего папу и его книгу планов и расходов. Тогда мы были совсем маленькие, но навсегда запомнилась его аккуратность и расчетливость. И так все время приходилось на что-нибудь экономить — то свадьба Иветт, то Франсуаза жила у нас после окончания техникума и собирала себе на квартиру, потом свадьба Франсуазы, потом надо было скопить на старость, а теперь нужно купить новую квартиру рядом с нашими детьми. Но тут я думаю, что нам поможет Роже (*муж Франсуазы*), он обещал, так как квартира после смерти останется Сесиль (*дочь Франсуазы и Роже*). А теперь, Зина, я напишу тебе несколько слов о Коле и Павле. Я тебе уже писал, что он

был женат на Монике, которая через год после свадьбы умерла от менингита. Коля после ее смерти поехал на ее родину, к ее родным. Там чуть ли не целый год его не могли оторвать от ее могилы. Такая большая любовь у них была. Потом он женился на ее сестре Люси. В 1937 году у них родился сын Жак. Он вернулся с семьей в Париж, работал на своей машине и снимал маленькую однокомнатную квартиру. Когда началась война, ему нельзя было оставаться в Париже. Он так и не взял французского подданства; и он уехал в деревню, к ней на родину. Там они очень голодали. Фашисты очень быстро продвигались и захватили деревню. Его арестовали, и он был под арестом в течение года. После, когда его отпустили, он выполнял разные работы по дому, сажал в огороде, держал скотину. После окончания войны он вернулся в Париж один, снял квартиру, а потом к нему приехали Люси с Жаком. Дом в Межене купил Коля позже, когда пошел на пенсию. Жак воевал в Алжире, так как он проходил как раз в это время военную службу. Павлик в 1939 году женился на Жанетт и в этом же году был схвачен фашистами и отправлен в лагерь, в Германию. Он был в войсках Народного сопротивления. Немцы принимали его за еврея и не верили никаким доказательствам, даже священника из церкви. В концлагере он очень много перенес — голодал, его избивали, но он оттуда сумел сбежать, однако он вернулся, как он говорил, стопроцентным инвалидом. В 1940 году у них родилась Полетт, а в 46-м — вторая дочь Даниэль. Работал Павел в Париже электротехником, но по вечерам грузчиком таскал вещи на вокзале. Всю жизнь мечтал выиграть и разбогатеть. Любил мечтать и фантазировать и порядочно выпивал. Мы ему первое время помогали, а потом Коля категорически сказал: “Если ты будешь пить, я тебе больше ни копейки не дам”.»

Итак, я уже рассказывала, что с 1922 года у нас завязалась переписка с Францией. После смерти мамы мы получили от Коли письмо, где он предлагал прислать меня к нему в Париж. Не знаю, в каком это было году, но был такой период, когда разрешали выезд. И папа уже оформил все

документы на мою отправку, но в последний момент раздумал, не мог со мной расстаться, как он говорил. Тогда Коля стал присылать нам материальную помощь, 100 франков. И мы на эти деньги могли купить кое-какие продукты в Торгсине. Это были такие магазины, где продавалось все только за золото и валюту. Кроме того, очень хорошо помню, как мы получили раза два, наверное, красивые посылки из Парижа с вкусными сырами, сгущенным молоком и консервами. Мы с папой часто писали письма с поздравлениями: с Рождеством и Пасхой, где и я выводила свои каракули. А когда мы получили письмо, что Федор и Андрей получили дипломы инженеров, папа был так счастлив, что устроил настоящий праздник. «О! — говорил он, — Такое событие надо непременно отметить». В 1936 году запретили переписку, и отец собрал все письма, фотографии, отвез на дачу, и мы их закопали.

Наступили трудные годы репрессий, и отца часто вызывали в ГПУ на Лубянку. Каждый раз он с нами прощался, давал нам наставления, думая, что больше не вернется, но все обходилось благополучно.

Когда я была маленькая, конечно, папа оставлял меня дома. А я не могла просто выдержать и дожждаться его возвращения. И поэтому, позже, он брал меня с собой, в любую погоду. И я ждала у магазина напротив, когда, наконец, он выйдет из заветной «счастливой» двери (двери выхода). Там были две двери: вход и выход. В первую дверь многие люди входили и больше никогда не выходили: как проваливались. Зимой я мерзла, но не спускала глаз с двери, стояла и ждала.

В то время он работал консультантом по надстройке и реконструкции зданий в Москве и преподавал сопротивление материалов в институте.

Вспоминаю, как в детстве я случайно узнавала о том, что кто-нибудь их друзей отца арестован. Оберегая нашу жизнь, отец старался скрыть от нас все свои переживания и только спустя много лет я поняла, как ему было трудно,

не с кем было поделиться. Все были подавлены чувством страха и боялись говорить, а мы были детьми и не могли его, к сожалению, понять. Страх был настолько велик, что, мне кажется, люди боялись даже своего голоса, говорили как-то полупшепотом. Кругом были доносы, даже на своих родных были доносы. Боялись всего. Елки были запрещены, например.

Помню такой случай. Как-то на Рождество мы делали елку, несмотря на запрещение, и, украсив ее, поздно ночью, когда уже все спали, заперли двери, зажгли свечи, папа сел за пианино и мы все стали петь «Stille Nacht, heilige Nacht» и «O Tannenbaum». Вдруг свеча упала, елка вспыхнула, на ней было очень много ваты и игрушек из бумаги и стекла, папа моментально схватил пылающую елку за ствол, хотел ее вытащить в коридор, но двери и окна были заперты, а проход к двери был узким — слева была постель, справа — шкаф, и было опасно пронести елку между ними, могло загореться все. Загорелись шторы, отец выбил стекло и выбросил ее в окно вместе с игрушками. Я плакала потому, что очень испугалась, но еще больше жалела игрушки. Там был и тот мишка, которого подарила мне мама, он сидел под елкой. Затувив пламя в комнате, отец выбежал на улицу, чтобы оттащить елку от наших окон и закопать ее в снегу, иначе соседи могли донести на нас.

На даче мы часто наблюдали как шли товарные поезда, переполненные арестованными. Окна вагонов были с решетками, и я запомнила их всегда стоящими около окон за решетками. Иногда эти товарные вагоны просто были забиты досками. По ночам число поездов увеличивалось, их везли на север. Иногда, когда поезд замедлял ход, некоторые из них ломали решетку и выбрасывались на ходу, надеясь спастись. И тут начиналась облава, стрельба, лай собак. Солдаты искали спрятавшихся, заходили бесцеремонно в дом, искали. Иногда на утро около железнодорожного полотна в кювете мы находили убитых, но никто не решался подойти близко, похоронить. Потом

эти трупы куда-то исчезали. Иногда около этих трупов стояли люди, которые махали на нас руками, т. е. нельзя было подойти.

Однажды ночью на даче к нам в беседку тихонько постучали. Это был арестант, в прошлом офицер царской армии. Он просил спрятать его до утра. Сначала папа не соглашался, говорил, что у него дети и нет жены и, если его расстреляют, то его дети останутся круглыми сиротами. Папа обратился к нему по-французски, и тот ответил ему тоже по-французски. В это время стрельба усилилась, солдаты с собаками были уже близко около нашей дачи, отец быстро выскочил в сад и спрятал арестованного в старый колодец, где было немного воды, и забросал его сеном и ветками.

Рано утром, когда я проснулась, папа и неизвестный человек сидели за столом и пили чай. Человек сидел ко мне спиной, но я видела, что на нем надет был папин полотняный костюм. Они тут же утром уехали, думаю, что в Москву. Мне же папа очень строго сказал, ну прямо приказал, чтобы я забыла все, что видела, навсегда, и никогда никому не говорила, иначе его расстреляют. Конечно, это было для меня самым страшным. Я безумно любила отца, и он был для меня единственным на всем свете, и я молчала, стараясь это забыть на всю жизнь. Я даже не рассказывала об этом своему мужу.

Помню еще такой случай. В Лосинке жили папины друзья. Тогда это было чудесное дачное место, кругом леса. Мы с папой часто бывали у них в гостях. У них было много детей, кажется, человек шесть или семь, разного возраста; и мы там устраивали всей командой шальные игры. Например, я предложила пойти один раз всем в лес, сказав им, что я видела там цыганский табор и что было бы очень интересно присоединиться к цыганам и побродить вместе с ними, а потом можно будет вернуться домой. Почему-то со мной отправились только два мальчика. Наверное, я их заинтересовала тем, что у цыган есть всегда лошади и они могут дать прокатиться верхом.

Мы долго шли лесом, но до табора так и не дошли. Вдруг на дороге стоят два огромных оленя, морды у них были такими свирепыми, потом вдруг они начали драку рогами. Мальчики убежали, и я с ними. Одним словом, это была очень близкая нам семья, и мы часто там бывали. Однажды, ничего не подозревая, мы, как всегда, приехали к ним и уже подходили к их участку, шли лесом, с одной стороны там были дома, а с другой — лес. Нам навстречу идет женщина, их соседка (там все хорошо нас знали, особенно меня, я не раз лазила через забор к ним за сливами, я и в детстве очень любила сливы). Так вот, идет эта женщина, останавливает нас и прямо при мне говорит: — Не ходите туда, там засада. Папа спросил: — А что с ними? — Их всех забрали и увезли. — А дети? — спрашивает отец. — И детей тоже, — ответила она и заплакала. Папа взял ее под руку и мы повернули обратно. Мне папа строго настрого приказал идти вперед, а шли они сами сзади и о чем-то говорили до самой станции.

В даче, что на другой стороне, жили тоже папины друзья — семья французов по фамилии Лемерсье. Это были очень известные люди, вы можете встретить их фамилии в литературе по искусству. Они занимались коллекционированием картин. Эта дача была построена по папиному плану. Мужа арестовали и расстреляли, а все имущество конфисковали и забрали картины. Мадам Лемерсье продолжала там жить со своей прислугой Лизой. У них на участке, в сарайчике, жил их управляющий по фамилии Очеркан. Он хотел занять их дачу, но ему это не удавалось, и он начал на их участке строительство своей дачи. Очеркан все время угрожал мадам Лемерсье, что он на нее донесет. Летом меня папа к ним редко брал с собой, а вот зимой, когда мы с ним приезжали счищать снег с крыши, то постоянно заходили к ней — отогревались и пили чай. Папа помогал ей писать какие-то бумаги. Как-то мы приехали на дачу, и нам ее прислуга сказала, что мадам бросилась под поезд, не выдержав угроз Очеркана. Дача отошла дачному тресту, но прислуга оставалась там жить в одной комнатке. Там и сейчас живет очень

старенькая женщина, Осиповна, которая помнит, как я девочкой приходила туда с отцом. Кстати, Очеркана и всю его семью потом тоже расстреляли, это уже была другая очередь. Я дружила с его внучкой, которая во время войны приезжала оформлять продажу этой роскошной дачи священнику. Это было в 1945 году, я тогда жила на даче с маленьким Андрюшей. Она, по старой дружбе, зашла ко мне и об этом рассказала. Ее дед, Очеркан, был, конечно, партийным; он был зам. министра что ли по золоту, а ее отец послом во Франции, и все пострадали. Это была когда-то очень богатая, уже в советское время, семья. Женя, внучка его, на лето приезжала из Франции к деду на дачу. У нее был такой красивый дамский красный велосипед, на котором я впервые научилась кататься. Они даже приглашали к себе Лемешева, и он пел, а все соседи выстраивались у забора и слушали его концерты, ну и я в том числе.

Дача № 55 тоже строилась по папиному плану для его друга, священника Болотникова. Его и двух его сыновей тоже расстреляли, а невестка с сыном, моим ровесником, была в отъезде в это время, у себя где-то на родине. Когда они вернулись, помню как папа ей помогал отстоять хоть одну комнатку в этой даче. Звали ее Зоя Федоровна, а сына — Глеб. Я дружила с Глебом, мы даже ходили с ним на танцы. Папа ему доверял. Во время войны с немцами он был убит.

В Москве я тоже хорошо знала семью Кривошеиных. Думаю, что Андрюша и Мила помнят деревянный двухэтажный дом на Салтыковке, который стоял сразу справа у ворот в наш двор, напротив нашего дома. Дом у них отобрали сразу в революцию, они при старом режиме сдавали там небольшие квартиры. Позднее всю семью увезли на «черном вороне» неизвестно куда. Вот все это было у меня на глазах. Это только наши соседи, некоторые из них наши друзья, а сколько было еще, которых мы не знаем. Нам вечно долбили, что это враги народа.

В 34—35-х годах, я точно не помню, я с папой путешествовали по Кавказу. Целью нашей поездки было лечение. Папа, видимо, болел желудком, и врачи ему посоветовали поехать в Кисловодск и попить нарзан. Ну, конечно, папа не мог не проехать мимо знакомых ему мест, где он строил и жил какое-то время с мамой и детьми. По-моему, если я не ошибаюсь, мы доехали поездом до Новороссийска, где папа был очень печальный, больше молчал и только в порту проговорил стихами: «Уж нет меж нами тех, кого любили». Мы в этот же день, вечером, уехали оттуда. Хотя я его очень просила искупаться, но он не согласился. Только позднее, когда я от братьев услышала эту историю, я поняла, что ему была больно все это вспоминать в этом городе. Затем мы посетили Майкоп, настроение у него сохранялось такое же. Что-то он мне показывал, рассказывал о своей работе, я ничего не помню. А вот в Сочи он очень оживился. Мы с ним много гуляли, купались, папа показал мне дом, который построил его брат, Владимир Рудольфович, для своей первой жены. Его отобрали, в советское время там находилось Сочинское курортное управление. Это рядом с парком «Ривьера». А потом мы смотрели вотчину князей Романовых и Красную поляну. Мне очень хорошо это запомнилось — необыкновенная красота. Она лежала в глубине небольшой долины, среди высоких горных стен. Эти стены все поросли непроходимыми зарослями леса. Там росли дикие сливы, яблони, черешни. Ешь сколько хочешь. Помню, как папа мне читал стихи Вячеслава Иванова. Но я запомнила только одну строчку: «Медведь бредет, и сеть плетет лиана»\*. А я, конечно, себе все это очень хорошо представляла. Тогда я впервые увидела, что люди ходят с аппаратами и фотографируют. Из какой-то картонной коробки я сделала себе фотоаппарат и заставляла папу останавливаться и позировать, а, придя домой, пока папа отдыхал, я на маленьких кусочках бумаги делала рисунки того, что я там видела. Ну и на этом фоне — папу. Потом я все это отдавала папе, он их бережно хранил, складывал вместе с моими письмами.

*\* И первую мне Красная Поляна,  
Затворница, являет лес чинар,  
И диких груш, и дуба, и каштана  
Меж горных глав и снеговых тиар.  
Медведь бредет, и сеть плетет лиана  
В избыточной глуши. Стремится, яр,  
С дубравных круч, гремит поток студеный  
И тесноты пугается зеленой.*

*(Вяч. Иванов «Деревья»)*

Да, мне кажется, что я вам еще не рассказала какой у нас был заведен порядок переписки. Если у нас в доме кто-нибудь уходил, а дома в этот момент никого не было, мы обязательно писали записки, где мы и когда придем. В них было не только сообщение, но и обязательно признание в любви. Когда я ложилась спать, и папы в это время дома не было, я обязательно писала ему пожелание спокойной ночи и, опять, признание в любви. Папа все эти листочки, обрывки, бумаги хранил очень долго. Они были написаны со страшными ошибками, корявым почерком и очень наивными — такое впечатление, что я хотела все время свою любовь к нему с чем-то сравнить, измерить, с чем-то очень большим. Например, мне потом, уже после, нет, во время войны, попались записки: «Я люблю тебя очень, так много и сильно, как сто воротов, домов и рек» или «как очень много небов и океанов». Позднее уже: «Нет такой больше реки, как моя любовь к тебе», ну и т. п. Так я всегда заканчивала свои записки. Жаль, что они не сохранились.

Потом мы посетили Пятигорск, лермонтовские места. Папа читал стихи у могилы, где стрелялся Лермонтов. И вот там я только узнала, что колыбельная, которую он мне пел почти каждый вечер на ночь, была написана Лермонтовым. «Твой отец — он старый воин, закален в бою» или

«злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». До этого я считала, что это папа все поет про себя.

И, наконец, мы добрались до Кисловодска. Здесь мы сняли комнату с красивым садиком. Питались в столовой. В те годы все было — столовые, закусовые — на каждом шагу с хорошими диетическими блюдами. Папу мучил колит, но он никогда не жаловался. Пили нарзан, который нам очень ловко подавали от источника, держа в одной руке сразу три стакана. Я этому очень была удивлена. Дома тренировалась, но ничего не выходило и кончилось тем, что я разбила единственный стакан.

Мы там с папой побывали везде — посетили Серые камни, Красные камни, Кольцо-гору, Храм воздуха на высокой горе, покрытой соснами. Я все продолжала там делать свои снимки-рисунки и мы привезли оттуда целую гору бумаги. Что там ваши видеокассеты. О! Это было замечательное время! Папа повеселел, а моя душа просто переполнялась счастьем.

Это была моя единственная поездка с папой вдвоем. В основном, лето мы проводили в Клязьме. Беседка, где мы жили с папой на даче, была очень уютной. Она была построена из хорошо отшлифованного теса с пазами, так что не было никаких щелей. Обита была с двух сторон — снаружи и изнутри, а между ними засыпана опилками. Однако я всегда мечтала пожить в самой даче. Но папа вынужден был сдавать дачу, так как он собирал деньги на мое образование и всегда говорил, что после его смерти мне не на кого рассчитывать, а так, экономя, я смогу учиться пять лет в институте. Он эти деньги держал в облигациях Золотого займа, т. е. беспроигрышного: был такой Золотой заем 1929 года выпуска, который должен был в течение 10-ти лет выиграть, а если не выиграешь, то можешь деньги получить по облигациям обратно. Их всегда можно было продать, даже в течение 10-ти лет. Правда, как только началась война, их заморозили, и он не мог взять

оттуда уже ни копейки, несмотря на голод. Это было снова ударом для него. «Сколько же я потерял, — всегда говорил он, — сколько отобрали».

Облигации были сданы на хранение в сберкассу. Мне их выдали по завещанию после смерти папы. Когда я пришла получать эти деньги, мне рассказали сотрудницы сберкассы, которые очень хорошо знали папу, даже любили его, они рассказывали, как он за три недели до смерти, 5 мая, пришел туда, чтобы написать это завещание на мое имя, что потом он еле шел, они провожали его до трамвая на Бауманской, посадили, что они им восхищались, они его очень давно знали, женщины были просто в него все влюблены.

В беседке у нас стояли козлы, а на них клались щиты, сбитые из досок. Это были наши с папой постели. Стол и маленький шкафчик, а постель — матрасы и одеяла — мы привозили из Москвы в узлах на спине, а осенью забирали, естественно, в Москву обратно. Но совершенно замечательными были три плетеных кресла, которые так и оставались там на зиму. Я выносила кресло в сад и, уютно устроившись в нем с ногами, читала целыми днями. Когда приезжали Муся и Вера, то к моей кровати подставлялись еще козлы и щиты; можно было лечь втроем.

Я, хотя раньше и писала, что не испытывала комплексов по поводу своей скудной одежды, но, конечно, я любила все красивое и мне хотелось красиво одеваться, но это желание было всегда каким-то мимолетным, я быстро об этом забывала и не комплексовала все-таки. Сейчас я расскажу вам такую смешную историю. В один из приездов Веры случился такой казус. Это было за год, не то за два до войны. Вера приехала в таком красивом платье — шелковом в цветочек, у нас есть фотография, где Вера в этом платье. Ну, просто сказка! Она была такая красивая в нем! Я не могла глаз оторвать. Мы легли спать, а платье такое нарядное, конечно, нельзя было повесить просто на стул, это было бы неуважение к нему. Папа сделал

из палки вешалку, обтянул ее тряпками и водворили это платье на стенку над нашей кроватью. Вера утром встает, умывается, хочет надеть это платье, а его нет. Ищет везде. Мы с папой лежим еще в постели и советуем, где же ей еще посмотреть, проверить закрыта ли дверь. Она спешит на работу, опаздывает на поезд. Папа лежит удивляется: «Ну что же это за вор такой, который даже не прикоснулся к моему бумажнику, а платье взял...». И что же ей делать... надо ехать, а надеть-то нечего. Тогда папа обращается ко мне: «Зика, посмотри, может оно упало за постель? Ведь вешалка-то весит, а платья нет». Я поднимаюсь, а они как ахнут..., оказывается, платье на мне. Значит, ночью я, под впечатлением, его надела и спала в нем. Что интересно, что я лежала и вместе с ними выражала беспокойство и думала, где же оно могло быть и как же к нам залезли воры. Мне в то время было лет семнадцать. Вот какая была впечатлительная. Смеху-то было потом много, а тут уж было не до смеха, потому что платье было все мятое, стыдно было идти. Вера сердилась, расправляла его как-то, утюгов у нас там не было и приговаривала: «Это все твои книжки тебя довели!»

А читала я, действительно, запоем. Два раза в месяц я ездила в Москву, в Пушкинскую библиотеку, что около Елоховской церкви, и набирала полную авоську книг. По их прочтении — снова и снова туда же. На даче, конечно, с утра работы было много — каждый день шла на рынок, брала всего понемножку, сто грамм, двести, так как холодильников не было. Потом — завтрак. На керосинку надо было скорее ставить обед, чтобы он был готов вовремя. Уборка, работа по саду. А вот после уже обеда — это чтение до вечера. Вечером мне папа разрешал выйти к ребятам, поиграть в волейбол, а иногда мы устраивали танцы на этой волейбольной площадке. Площадка была против дачи Курбатова. Но как только начинало смеркаться, если я не приходила сама вовремя, то папа приходил за мной, подходил к компании и звал меня. Это было мне очень неприятно. Вечером мы вместе с ним таскали воду, поливали цветы, ужинали и потом подолгу беседовали. Иногда

продолжали наши беседы уже лежа в постели. Летом он мне не разрешал читать при электрическом свете, чтобы беречь глаза. Говорил: «Достаточно, что ты читаешь целый день».

Думаю, что если бы я не перечитала всего этого в те годы, я просто не смогла бы закончить институт. Когда приходилось сдавать русскую литературу, например, по частям, первая четверть XIX века, вторая половина, XX век, Серебряный век, древняя русская литература, а про иностранную и говорить нечего. Литература американская, английская, французская. Мне же было достаточно прослушать лекцию и потом просто перелистать текст и вспомнить.

Помню, что в начале чтения моего, это были сказки, стихи, а потом, по моему первая книжка, которая так была серьезная, это «Хижина дяди Тома», потом М. Твен, Ф. Купер, М. Рид и начались уже более серьезные книги, такие как Шекспир, Шиллер, Гете и потом Мериме, Золя читала, Мопассана, причем я старалась перечитывать полностью, ну Диккенса, конечно, это еще раньше, потом увлекались все очень Драйзером, все его романы — «Гений», «Титан», «Американская трагедия», «Сестра Кэрри» ну и др.

Работать и заниматься в читальнях и библиотеках меня, конечно, научил отец, очень рано. Уже с седьмого класса мы с ним ходили в библиотеку вместе, читали и оставались там, в читальне подолгу. Потом я уже стала ходить одна, делала выписки и почти все предметы готовила в читальне. Потом у нас на Салтыковке, рядом с заводом ЦАГИ, была замечательная библиотека и читалка. Вход туда был по пропускам от завода, а поскольку папа там преподавал черчение, прямо в этой библиотеке, меня пропускали по его пропуску. Я и в годы, когда уже училась в институте, тоже ей пользовалась. Например, нигде не было древних источников, а там было всё, это просто удивительно! Меня это очень выручало. Пока дети были в школе, можно было туда вырваться хоть не надолго. А как-то недавно на

даче Андрюша мне сказал, что он никогда не видел меня за книгой. Да, конечно, разве я могла читать днем, когда у меня была семья, работа и учеба в институте. Он не знает, что когда все спали, я, как правило, ложилась в три часа ночи, или ставила будильник и вставала в три часа ночи с тем, чтобы подготовиться к занятиям, перелистать или прочитать хотя бы только то, что нужно было мне по программе. Думаю, что постоянное недосыпание и большая перегрузка здорово расшатали мою нервную систему и довели меня до такой страшной тахикардии, что в 35 лет мне пришлось делать операцию щитовидной железы.

На даче нас часто обкрадывали, но так как брать было особенно нечего, у нас снимали электропроводку полностью. Рядом жил электромонтер Федоров, которого папа просил восстановить, когда мы приезжали летом; и, если он отказывался и говорил, что у него не хватает проводов или еще чего-нибудь, папа дипломатично отмалчивался или просто разводил руками. Между прочим, эту привычку унаследовали Коля, Андрюша и Франсуаза. Нам папа шутя говорил: «Что снял, то и поставит на место, только с одной разницей, что снимал бесплатно, а вот ставить будет за деньги».

Точно не помню, после того ли случая с платьем, или раньше, Муся с Верой купили мне платье кирпичного цвета с белым мелким горошком, с крылышками и юбкой клёш. Нет, это все-таки было пораньше. Я была в восторге, а папа был недоволен, просил меня уйти и о чем-то долго спорил с сестрами. Но платье у меня осталось и прожило до рождения Андрюши и моего отъезда в Ригу. Есть фотографии, где я в нем после сдачи последнего экзамена за десять классов. Правда, я к тому времени уже выросла, возмужала и мне пришлось его надставить куском белого материала. Всю свою первую беременность я проходила в нем, разрезав на спине, иначе оно не влезало, а сверху надевала какую-то широкую кофту, которую мне дала тетя Миля, чтобы скрыть разорванное платье на спине и животе.

В конце 30-х годов десятилеток не было. В школе давали только семилетнее образование. После этого для продолжения учебы надо было поступить на рабфак, но туда принимали только работающих и рабочих, поэтому Вере и Мусе днем приходилось работать, а вечерами учиться. Вера работала на ликерно-водочном заводе нормировщицей, а Муся — чертежницей, она всегда прекрасно чертила и рисовала. Окончив рабфак, Вера поступила в двухгодичный учительский институт, на географический факультет. А Муся попробовала поступить в архитектурный институт, но ей отказали из-за сословия, из которого она происходила. Через года она снова стала сдавать экзамены и поступила в инженерно-строительный институт, и окончила его в 1939 году. Но стипендию ей не давали как дочери служащего, а не рабочего.

Училась она очень хорошо по всем предметам, кроме общественных, это марксизм-ленинизм. А все экзамены раньше начинались только с этих предметов. Если не сдашь, то тебя не допустят, будь ты хоть сто пядей во лбу. И она так дрожала всегда, а мы все переживали за нее. Папа ей в этом никак не мог помочь, потому что говорил: «Такую дурацкую науку я не буду читать даже». Помню как она мучалась, нервничала, а у нее были совсем другие способности — к математике, физике, черчению.

Да, хотелось бы еще отметить, что Муся имела очень хороший вкус. Она одевалась со вкусом, несмотря на отсутствие одежды. Или сделать уютной комнату. Хотя шить не умела, но она рисовала, делала аппликации, трафаретки какие-то вырезала. А еще в детстве я очень любила ее сказки и скороговорки. Например, жили-были три японца. («Жили-были три японца: Як, Як-цидрак и Як-цидракци-якцитрони. Жили-были три японки: Цыпа, Цыпа-дрипа, Цыпа-дрипа-лимпомпони. Вот они переженились: Як на Цыпе, Як-цидрак на Цыпе-дрипе, Як-цидракци-якцитрони на Цыпе-дрипе-лимпомпони.») Все они переженились, циби-дриби и так далее. Одним словом, это была такая длинная история. Я поражалась, как она могла это все

запомнить — эти нерусские имена, их жен и десятки детей. И очень хорошо она читала, помню, «Мороз-красный нос» и другие вещи. А уж если она, бывало, что-нибудь прочтет и станет рассказывать так эмоционально, ну прямо взалхлеб. Это нас заражало с Верой и мы спешили тоже прочесть это или посмотреть этот фильм. Так было, например, с фильмом «Петер» до войны. Думаю, что Аня и Саша (*внучки Марии Николаевны*) тоже от нее много слышали рассказов.

Вера дома никогда ничего не рассказывала, но она участвовала в художественной самодеятельности на заводе, и мы ходили на ее выступления. В каких-то массовых сценах революционного характера выходила группа людей с флагами, плакатами, маршировали и пели. И даже Вера, помню, аккомпанировала хору, потому что там никто не умел играть на пианино (а она все-таки немного училась), когда они пели песню «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...» А дома она исполняла под свой аккомпанемент романс, который она очень любила, «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

Годы войны с Финляндией мы как-то совсем не заметили. В магазинах было все, кроме одежды, продукты были без карточек. Может быть, это я не почувствовала, потому что не коснулось нашей семьи, а ведь многие погибли. Помню, когда папа говорил о линии Маннергейма. Там почти вся армия была на лыжах, а у нас солдаты не были обучены этому виду спорта, не имели лыж, не могли передвигаться. Одним словом, в этой войне мы здорово осрамылись. Но все равно распевали песни «Несокрушимая и непобедимая... наша страна» и кричали всегда, что ни одной пяди земли врагу не отдадим. Так что, когда грянула война 41-го года, мы были все достаточно спокойны и уверены, что это не надолго и в два-три месяца разобьем фашистов.

39—41-ый годы — это было время моих увлечений. Правда, первое увлечение было еще раньше, в седьмом классе. В старший класс пришел новый ученик — Борис Бандэ — говорили, что он сын посла, приехал откуда-то из-за границы. Он резко выделялся из всех остальных — красивый, статный, всегда нарядный брюнет. Он мне очень нравился. У нас в школе иногда показывали какие-нибудь учебные фильмы. Тогда затемнялись окна, все ученики набивались битком в этом классе и стоя смотрели фильмы. Однажды я тоже туда вошла, и вдруг меня взял за руку этот Борис и притянул меня к себе. По мне словно прошел какой-то ток, и я стояла так замерев, не вырвалась даже, вплотную к нему. Потом в раздевалке он мне шепнул: «Приходи к Земляному, к 6-ти часам, буду ждать под часами». Ой, сколько же было переживаний. Я поделилась с Машей Куликовой, я даже не знала, где это Земляной. Помню, Маша меня проводила до Аптекарского переуллка, я села на трамвай и приехала туда с опозданием, никого уже не было под часами. Потом он со мной не разговаривал даже, вроде как и не смотрел на меня. Я узнала его телефон и решила позвонить и оправдаться, а он сказал: «Что это за детский сад» и повесил трубку. Я очень страдала.

В нашем классе за мной ухаживали несколько мальчиков. Некоторые из них провожали меня домой, другие писали стихи, но мне никто не нравился, я просто дружила с ними. Был такой Василек, который провожал меня и всю дорогу шел, отхаркивался и плевался. Он меня всё приглашал в кино, но я ему сказала, что без папы я не хожу.

Действительно, мы всегда ходили вместе в кино с папой. Никогда не забуду и не прощу себе, как я огорчила отца. Мы с классом как-то собрались пойти на какой-то фильм, и я стала просить у папы разрешения тоже пойти, на что он мне сказал: «Сходим в другой раз вместе». Я ему ответила, что мне хочется вместе с ребятами, и он мне сказал мне: «Неужели тебе интереснее пойти с ними, а не со мной?», и я ответила: «Ну, конечно». Господи, какая

боль отразилась на его лице... Он так печально посмотрел на меня, но ничего не сказал, а только развел руками.

Был еще такой Вячеслав Козырев, тоже провожатый, и всё писал мне стихи и передавал потихоньку на переменах. Он мне подарил свою фотографию крупным планом. Не знаю, цела ли она у меня, где были написаны на обратной стороне стихи.

Нежной прохладой дышит легкий ветер ночной,  
Вот на небе уж вышел месяца рог золотой.  
Звезды на небе мне шепчут только имя твое,  
Листья, болтая, тоже мне шепчут только имя твое.  
Любовь разбудит в тебе.

Он был умен, талантлив, но какой-то очень странный, стеснительный. Пришел после войны без руки, заявился ко мне, а у меня тогда уже был Андрюша. Я просто дружила с ним и всегда с любопытством и, надо сказать, с удовольствием выслушивала его стихи.

А вот Петя из них мне нравился больше всех. Не внешностью, просто мне было всегда с ним интересно. Он так много знал, читал, рассказывал, так что я чувствовала себя такой дурочкой по сравнению с ним. Это было для меня впервые. С другими я чувствовала себя гораздо умнее. Мы с ним любили встречаться, ходили взад-вперед по набережной Яузы после школы и говорили, говорили без конца. Потом начали ходить в кино, театр. Помню, смотрели «Проделки Скопена» и другие вещи. Деньги на театр и кино всегда давала я, у него их никогда не было. Мать его была писательница Софья

Резник. У меня сохранилась ее книжка с автографом: «Славной белокурой девушке Зине Штейп от автора».

Однажды, это было в старый Новый год, в 1941 году, мы вместе — он, я и его мама — встречали старый Новый год и он объявил ей: «Мама, люби Зину, как меня, она будет моей женой». Так мы с ним решили о нашей помолвке, и он по этому поводу написал стихотворение, свой первый сонет, который раньше у него не удавался, а теперь он был счастлив, что у него получилось. Он подписал его: «Дорогой Зине, моей будущей жене»:

Я хочу тебе родная рассказать, как я люблю  
Нежно, крепко обнимая, рассказать про страсть мою  
И, в тиши тебя лаская, счастье светлое найти.  
В край блаженный улетаю, на твоей уснуть груди.

.....

Это стихотворение у меня сохранилось. Конечно, любви там еще не было. Я просто его очень уважала. Мне казалось, что я люблю. А ведь все началось с моей инициативы. Где бы я ни училась, я всегда садилась на первую парту, была очень внимательной и не любила, когда меня что-нибудь отвлекало. Когда мы отвечали, то обязательно выходили к доске. И вот однажды Петя так хорошо отвечал по литературе, что просто пленил меня своим ответом, и я на перемене пересела к нему, а он сидел сзади меня, один, я нарушила свои правила. Нас все высмеивали, особенно его. Он не выдержал этого и сбежал от меня на другое место на следующей перемене. Мне было очень обидно, я просидела целый урок одна, а на другой перемене подошла к нему и сказала: «Ты ведешь себя недостойно, не по-мужски, в

тебе нет ничего джентельменского». И он на следующем уроке вернулся ко мне. Так мы просидели с ним вместе до окончания школы. Все это происходило в течение одного дня, и я победила. Потом начались какие-то скользкие намеки учителей, ухмылочки. Меня вызвала классный руководитель и уговаривала меня пересесть от него, а я ответила, что буду сидеть только с ним или перейду в другую школу. Тогда они устроили встречу моего отца и его матери. Я со страхом ждала возвращения отца домой, но папа повел себя, на мое удивление, очень деликатно. Только вечером, так он все время молчал, во время нашей очередной беседы, он выслушал меня, мое объяснение, почему я так настаиваю на своем и сказал: «Ну, что ж, его мать произвела на меня положительное впечатление», а учителям он сказал, что мне он доверяет, что наша дружба обоюдно полезна и чтобы оставили нас в покое, так как иначе это может привести только к худшему.

Однако был такой случай, который очень сильно подорвал мое уважение к нему. Как-то поздно вечером, было уже темно, мы возвращались после занятий в кружке художественной самодеятельности, и с одной стороны шел Петя, а с другой — еще один обожатель Вениамин Вайсберг. Нам навстречу — ватага ребят, они надвигались прямо на нас, а мои кавалеры, оставив меня в их окружении, пошли потихоньку вперед. Это компания хватала меня за руки, уговаривала пойти с ними, говорили: «Как это такая хорошенькая девочка гуляет с такими сапогами?». Я вырвалась, кого-то ударила, не помню, что-то сказала, их было, кажется, трое. Не успела я шагнуть вперед, как почувствовала удар в спину и острую боль. Я закричала, они убежали, а Петя и Вениамин вернулись ко мне. Я обозвала их предателями и еле-еле добралась до дома. Правда, всю дорогу они шли за мной, до самого дома. Оказалось, что меня ранили в спину — не то ножом, не то бритвой. Хорошо, что дело было зимой. На мне было пальто на вате, но вся моя одежда была в крови и папа срочно, когда я дома разделась, отвез

меня в больницу. Папе я даже не могла признаться, что со мной были мальчики, так как было очень стыдно за них. После этого я очень долго не разговаривала с ними, но продолжала сидеть вместе. Когда он мне писал записки и подвигал их в мою сторону, я отстраняла их не читая. Тогда его мать как-то пришла к воротам нашей школы, дождалась меня и очень просила, уговаривала помириться с ним, говоря, что у него депрессия. На что я ответила, что любви там никакой не было, я просто очень уважала его, но он так повел себя, что я перестала его уважать. Постепенно наши отношения наладились. Думаю, что, в основном, это было из-за жалости с моей стороны. Дело в том, что он был всегда голодный, у него не было денег, а до ссоры я давала ему небольшие деньги, выделяя из своих хозяйственных, и он мог купить себе кое-что. Иначе ему приходилось бы оставаться голодным. А когда у меня тоже не было денег, я отдавала ему свой завтрак, а сама выпрашивала у Мары (моей подруги) кусочек хлеба.

Мара приносила большие куски украинского хлеба с очень вкусной колбасой и огромной яичницей. Мы с папой колбасу никогда не покупали и яичницу не делали. Если ели яичко, то одно и всмятку. И Мара охотно делилась со мной. Бывало и так, что я оставалась вообще без всего, когда Мара на меня обижалась и мы с ней не разговаривали. Дело было в том, что она меня очень ревновала к Вениамину Вайсбергу. И если он увязывался провожать меня вместе с Петей, то она на какое-то время переставала со мной разговаривать. Я ее убеждала, что он мне не только не нравится, но даже неприятен. Он был маленького роста, с большим носом и хитрым выражением лица. В Мариной семье меня очень любили. Я даже как-то прожила у них целый месяц, чтобы не пропускать школу, когда у нас в коридоре был карантин из-за скарлатины. Папа пришел к ним в семью, просил их оставить меня и дал деньги на жизнь. Это была традиционная шумная еврейская религиозная семья, где отец, например, предупредил Мару, что, если она выйдет замуж за русского, то он ее в дом не пустит, чуть

ли не убьет. Жена ее брата сшила мне бесплатно из какого-то старого нашего пальто зимнее пальто. Есть фотография, где я в этом пальто с Марой у них во дворе. А брат ее, имея уже жену и маленького ребенка, был посажен в тюрьму и отправлен на Север за то, что отказался подписаться на заем. В те годы кроме Золотых займов, были еще обязательные займы, государственные, отказ от которых рассматривался как предательство. Деньги эти никогда не возвращались, правда, иногда были выигрыши.

С Петей мы довольно часто ссорились, он был очень ревнив. Стоило мне на перемене долго поговорить с кем-нибудь из мальчиков или задержаться в раздевалке и выйти из школы с кем-нибудь другим, он мог, в ожидании меня, оборвать у себя на пальто все пуговицы. Он ждал меня всегда у ворот в школьный двор. Все ребята отступали перед ним, а вот Вайсберг иногда увязывался пойти вместе с нами. Мать Петина всегда мне говорила: «Зачем ты его так мучаешь?» На что я улыбалась и пожимала плечами. Но ведь между нами ничего не было, да и о помолвке, о которой он заявил самостоятельно, даже не спросив меня, я и не знала. Правда, в тот день он поцеловал меня в щечку и быстро убежал. Иногда гладил мою руку в темноте кинозала, но я ко всему этому относилась очень безразлично.

Мне нравился в это время другой мальчик — Виктор Грозовский, с которым я вместе участвовала в самодеятельности, но у этого мальчика уже была знакомая девочка, с которой он дружил много лет, она была из младшего класса. Он погиб на войне. Но с Петей мне было очень интересно. Я считала его другом. Он видел во мне будущую жену. Мне казалось, что он пропадет без моей помощи. И я снова мирилась с ним. Я старалась иногда кроме денег на завтраки, что-то сэкономить и выделить ему хотя бы три рубля для него и его мамы из тех хозяйственных денег, которые мне папа давал на расходы. Тогда для них наступал настоящий праздник. Я приходила к ним после школы, и мы с его мамой на керосинке делали чай, а Петя бежал в магазин и покупал баночку кабачковой икры, пятьдесят грамм масла,

буханку украинского хлеба и даже немного кускового сахара. Это было выгоднее, потому что пили тогда вприкуску. А впечатление было такое от нашего застолья, словно мы выпили вина. Много и оживленно говорили о литературе. Мать его читала нам отрывки из продолжения своей книги, ну а потом он провожал меня домой. Вот тут я начинала спешить, нервничать — как бы папа не пришел раньше, надо было забежать в магазин, кое-что купить, приготовить, прибраться в комнате. Папа возвращался всегда в шесть часов вечера. Конечно, папа о моих свиданиях и помощи ничего не знал. Иногда я думала со стыдом об этом, но оправдывала себя тем, что ведь я помогаю голодающим. Иногда, оказывая им небольшую помощь, я шла на риск, на обман папы. Его мать иногда обращалась ко мне с просьбой дать ей на время швейную машинку. Я не могла отказать, но чего мне это стоило... Я все время дрожала, что вдруг это обнаружит отец. Она держала подолгу. Так, в десятом классе она шила Пете какой-то несусветный костюм из старья. Он был черный, а рукава из синего сукна. Может, сейчас это выглядело бы оригинально, но тогда такой вольности не допускалось в одежде. Да и вообще, он был какой-то мешковатый, этот костюм. Но ему нечего было надеть и нужно было что-то сшить к выпускному вечеру. Его мать не работала. Она одиннадцать лет писала книгу и с большими трудностями вырывала какие-то мизерные гонорары из литфонда. Потом она стала просить меня принести ей что-нибудь из вещей, чтобы она могла заложить в ломбарде. И опять, на свой риск и страх, я вытаскивала из кофра какой-нибудь отрез или еще что-нибудь и таким образом выручала их каждый раз от голода. Но вещи она не отдавала, а снова их выкупала и перезакладывала. Так они и пропали во время войны. Хорошо, что папа почти никогда последние годы не лазил в кофр. Иногда вещь не подходила для нее, за нее ничего не давали. Она просила меня заменить чем-нибудь другим. У Пети с матерью были отличные отношения. Он никогда ничего от нее не требовал, относился к ней с большим уважением. В марте 1941 года, перед войной, мы праздновали у них какой-то юбилей, кажется, 45-летие ее. Стены у них были

черные, ремонта, видимо, в жизни не делали, и Петя разрисовал все стены разноцветными и белыми мелками. Петя, кстати, очень хорошо рисовал. Там были написаны слова: «Ура! Да здравствует наша мамочка!», а я занималась приготовлением какого-то скромного, но вкусного блюда, типа нашей пиццы теперешней — макароны, сыр, еще что-то, что был, одним словом, запекала в духовке. Они такой вкусноты не ели, а я уже умела кое-что приготовить.

Объявление о наступлении фашистов и о начавшейся войне мы слышали по радио от Левитана. Это было 22 июня 1941 года, часов в пять утра, когда мы возвращались с выпускного бала с аттестатами в руках. Я была очень нарядной, в Веринном платье с цветочками и в ее модельных туфлях, которые мне были малы. Танцы я еле выдержала, а по улице шла уже босиком. Несколько мальчиков, в том числе и Петя, провожали меня до дома. Мы шли по набережной Яузы, мечтали, строили планы, кто куда пойдет учиться, и договорились, чтобы встретиться через пять лет около нашего моста и рассказать об осуществлении наших планов. И вдруг в рупоре, стоя на мосту, услышали голос Левитана: «Внимание! Внимание!..» — и было объявлено о войне. Мы, ошеломленные, быстро распрощались и разошлись.

А 1-го июля мы с Петиной мамой во дворе нашей школы, в Токмакове переулке, провожали Петю на фронт, кстати, вместе с Никулиным и со всеми ребятами нашего класса. Их всех посадили в открытый грузовик и повезли, а мы долго махали им вслед. Петя попал в танковую школу, где-то за Уралом, писал часто. Из нашего класса ушло одиннадцать мальчиков. Двое вернулись — один без руки, другой без ноги, а Петя пропал без вести в боях под Курской дугой в чине капитана.

Когда фашисты подходили к Москве, Софья Моисеевна пришла к моему папе за советом. Он ей посоветовал немедленно уходить, пусть даже пешком. Так как у нее не было денег, он дал ей сто рублей. Летом было все

спокойно, тревожных вестей не поступало. Всё только говорилось, что наши войска геройски отбивают атаки.

Я поступила в инженерно-экономический институт по совету отца, потом жила на даче. Дача наша пустовала, не было дачников, но папа еще надеялся, и поэтому мы продолжали жить в беседке и вывешивать объявления о сдаче нашей дачи. Я много читала. Ребята уже нигде не собирались, мальчиков всех позабирали в армию, так что на улице было тихо, никто не выходил. Карточек еще не было, да и продукты можно было свободно купить и на рынке, и в магазине. И перед войной, за год до нее, наша дача тоже пустовала. Мы ее сдали, переехали какие-то богатые дачники — и вдруг подъезжает «черный ворон» со стороны Ленточки и забирает их отца. Они вскоре выехали, а мой отец вернул им деньги. Правда, потом он говорил: «Зря я это сделал, это им поделом за их расстрелы других людей. Одни убивали, теперь другие...» Я была с ним не согласна и спорила, откуда он это знает и делает такой вывод.

Осенью, когда должны были начаться занятия в институте, нас всех студентов собрали и послали в разные места рыть окопы под Москвой и собирать урожай. Я попала где-то вблизи Царицына. Взвалив мешок полосатый, наматрасник, на спину, я отправилась на трудфронт. Надо было взять с собой постельные принадлежности и теплые вещи. Нас разместили по избам. Спали мы на полу, днем работали в поле. Сначала выкапывали морковь, потом была команда рыть окопы. Осень была очень холодной и дождливой. Ночью сушили одежду на печке. Кормили нас один раз в день в колхозной столовой, бесплатно, а утром и вечером — хозяйева избы — картошкой и чаем, без сахара, конечно.

Однажды ночью мы услышали стрельбу совсем близко. Начальства оставалось мало. Утром, 16 октября 1941 года, нам сказали, что мы можем разойтись по домам. Транспорт весь стоял, и мы пошли пешком. Вот тут я

насмотрелась по дороге многого и почувствовала, что все это очень серьезно. Мы тогда этот день называли Варфоломеевской ночью. Всюду шли люди пешком, обвешанные разными вещами — кто баранками, прямо целыми связками на шее, кто нес несколько пар обуви, повешенными на шее, и другие вещи. Около некоторых заводов стояли машины, доверху нагруженные вещами. Люди тащили все что можно с заводов, с фабрик. Иногда видела драки, нападения на машины, их растаскивали, а хозяина машины избивали. Так я уже к вечеру добралась домой. По дороге часто объявлялись тревоги, падали бомбы, зажигалки. Приходилось задерживаться где-нибудь в подъездах. Но у нас дома было все спокойно. Вере удалось откуда-то притащить небольшой мешок муки. Магазины все были закрыты в это время, а Муся принесла большой отрез белой байки.

Когда я явилась в институт, нас направили на разные заводы на работу. Я попала на какую-то фабрику, в переулке, не доходя Дома культуры нашего района. Сейчас ее, наверное, и не нашла бы. Там надо было клеить защитные накидки для солдат. Работа была конвейерная, и меня почему-то сразу поставили бригадиром. Существовала норма — надо было в день сделать 500 штук, каждый делал свою операцию. Надо было очень быстро поворачиваться, чтобы не было никакого простоя. Я была первой, с кого начиналась работа. Мне надо было очень быстро снять два полотна со станка, на котором они висели, ровно наложить их на специальном столе один на другой так, чтобы один лежал на пять сантиметров приблизительно ниже другого, провести кисточкой с клеем эту полоску, загнуть ее, протереть сухой тряпкой и быстро перебросить дальше. Моя операция называлась горбовинщицей, от слова горб. Кто приклеивал завязки, кто капюшон делал, кто подносил, кто забирал материал. Сначала мы не выполняли нормы, а потом так быстро отработали движения, что наша бригада стала делать до 700 штук в день. Мне как бригадиру приходилось часто менять людей на разных операциях, если я видела, что они не справляются. Так мы работали

месяца два или больше. Я заработала уйму денег — 600 рублей. А вот как я их истратила, я уже рассказывала раньше, когда говорила о тете Нине.

Когда мы пришли в институт, он эвакуировался. Я, конечно, не поехала, а нашла работу в том же районе, на холодильнике № 9, где надо было перебирать мандарины. Поначалу мне эта работа показалась очень заманчивой. Перебирая мандарины, их можно было есть сколько хочешь, но потом я поняла, что я ошибалась. С наступлением холодов, а зима была суровой в этом году, мы страшно там мерзли. В помещении поддерживалась температура минус два, три градуса, и целый день надо было простоять на цементном полу, все время в твоих руках холодные мандарины, хотя мы работали и в пальто, но все равно мерзли, и даже не хотелось потом уже есть эти холодные мандарины. Мы мечтали пожевать кусочек хлеба и выпить глоток горячего чая. Ящики мы носили и поднимали на свое рабочее место сами, а это 25 кг каждый. Цех наш был расположен на четвертом этаже. Иногда отключали электричество, тогда лифт не работал и мы все выстраивались на лестнице цепочкой и таким образом передавали ящики друг другу. В другое время, когда был свет, ящики поднимали грузовым лифтом, и мы должны были просто от лифта перенести их в цех. В обеденный перерыв мы ходили в столовую. Нам давали тарелку щей из какой-то черной капусты и свекольной ботвы, хлеб надо было приносить свой, но обычно он был уже съеден еще до обеда в цеху. Но, все равно, этот перерыв был очень полезен. Он проходил так оживленно, шел товарообмен. В нашем корпусе были цеха с маслом, сыром и наш с мандаринами. Кусочек масла выменивали на пять мандаринов. А кусочек сыра — на десять мандаринов. Масло ведь без всего не съешь, а вот на сыр охотились все. Правда, он был покрыт зеленью. Работа в этих цехах заключалась в том, что они должны были зачищать головки сыра от зелени. Но зачищали с немножко большим количеством хорошего сыра. Конечно все это делалось из-под полы, быстрыми движениями, хотя внутри помещения нас никто не

проверял, а вот в проходной нас ощупывали, смотрели варежки, рукава. Не помню, тогда или позже, Сталин издал указ, что чуть ли не за один колосок сажали в тюрьму. Но я не могла устоять перед тем, чтобы не принести домой несколько мандаринов для папы и сестер, хотя это было очень опасно. Тогда я придумала сшить себе теплые, широкие шаровары из той байки, которую достала Муся. Покрасила ее в синий цвет, шаровары в войну были в моде. Ведь внизу они были на резинке — и тепло, и удобно было вынести, положив под резинку вниз штанины, я проносила штук по шесть каждый день самых лучших, но небольших. Иногда некоторых ловили, задерживали, уж не знаю, что было дальше, но на работе они больше не появлялись. Я проходила смело через проходную, брала маленькие, как я уже сказала, и все обходилось благополучно.

Наша работа в этом цеху заключалась в том, что надо было все мандарины перебрать на четыре сорта, разложить и упаковать в разные ящики. В первый ящик мы клали отличные, самые крупные мандарины и очень аккуратно, во второй — хорошие, но помельче, в третий — с пятнышками и немножко попорченные и в четвертый — совсем плохие, говорили, что это для джема, а первый наполнялся ящик, якобы для правительства. Наполнить ящик надо было, взвесить и поставить их штабелями. Все время приходилось поднимать тяжести, но тогда я была молодой, сильной, да и закаленной в работе, только очень болели руки.

Домой возвращались пешком, трамваи ходили редко. Вечерами, из-за подъема патриотизма такого, я еще с подругой дежурила бесплатно в госпитале, в Ново-Басманной больнице. Там тогда нам иногда перепало и поужинать какой-нибудь кашей. Таскали раненых, делали перевязки. Там были курсы при больнице, медсестер, трехмесячные. Я их закончила и дежурила в госпитале три раза в неделю. Дома все равно было плохо — холодно, неудобно, есть нечего, а там было теплее. Там я и начала свое донорство. К сожалению, нас возили к Склифосовскому только один раз в

месяц, зато перед сдачей крови поили горячим сладким чаем, сколько хочешь, после кормили хорошим обедом и на стол ставилась тарелка с хлебом, каждому даже по три куска. Это было замечательно. И уже оттуда я выходила без всякого головокружения. Да, еще давали четыре талона, по которым можно было купить в определенном магазине, это был гастроном № 1, рядом с ГПУ, и по каждому талону было написано: 500 г мяса, 500 г масла сливочного, 500 г сахару и маленькую плитку шоколада, наверное, грамм сто. Все это по дешевой, довоенной цене. Конечно, пришлось обманывать папу, говорить, что это мне за то, что я в госпитале работаю бесплатно. Когда у меня очень разболелись руки, стали опухать от холода, папа испугался, что у меня будет ревматизм и запретил мне там работать. Он устроил меня на завод «Стеол», где сам дежурил в проходной, так как все его точки работы закрылись, эвакуировались, а как сторожу ему давали там рабочую карточку. И я начала работать рабочей-аппаратчицей на «Стеоле». В цеху там было очень тепло и работа была легкой. Надо было заложить в котел какое-то вещество непонятное с определенными добавками, а потом только следить за временем и температурой и помешивать. Но тут я мучалась по другой причине, особенно ночью, страшно хотелось спать. Тем более сидишь, тебя тепло разморит, да и делать особенно нечего, надо только изредка поглядывать да помешивать. Работали в три смены. Днем, с утра, вечерняя смена и ночная. Всего было в цеху три человека и менялись очень часто. Вообще, эта работа без движения не в моем характере. Летом я перешла на работу в «Мособлшвейсоюз», который находился в Новочеркасском, это недалеко от Ферейновской аптеки, на счетную работу. Я быстро освоила арифмометр и производила на нем все четыре арифметических действия. Правда, надо было делать это очень внимательно, потому что было связано с материальными ценностями и деньгами. Директора швейных фабрик из Московской области приезжали к нам на машинах грузовых за получением материала для пошива военной формы, белья, шинелей, шапок и т. д. Я, на основании разрешения, должна была выписать накладную, указав название

материала, цену, стоимость, метраж, подсчитать общую сумму. Оплатив по моей накладной, они получали на складе по счету и увозили это в Тулу, Рузу, Дмитров и другие города Московской области. Один раз я ошиблась. Дело в том, что материал там различался по сортам. Например, хаки. И каждый сорт (первый, второй, третий) стоил по разной цене, а, стало быть, и итог по цене был тоже разный. Хорошо, я быстро вспомнила. Как только стало выписывать следующему по очереди накладную, я подумала, что ах, я сделала там ошибку и побежала к своему начальнику, тут же бросилась к нему в кабинет и чуть не плача призналась в своей ошибке. Он меня очень любил, это был добрейший старичок. Он меня успокоил и успел позвонить на склад.

Там я проработала до ноября 1942 года, а потом ушла в армию.

Сейчас я немного расскажу о моих сестрах. Жизнь их с 39-го года немножечко улучшалась. Муся в 39-м году окончила институт, они стали кое-что приобретать, какую-то одежду, а в те годы было очень трудно купить что-нибудь из вещей. Например, помню, как Муся и Вера стояли в очереди несколько ночей, сменяя друг друга, чтобы купить модельные туфли. В 1940 году Вера закончила учительский институт и вышла замуж за Дмитрия Агеенко, но через месяц после свадьбы его посадили в тюрьму за то, что он оттолкнул милиционера. А дело было так. После работы Дмитрий зашел в магазин, выбил чек и хотел купить с первой зарплаты своей для Веры гостинец — шоколадку, но продавщица сказала, что ее отдел уже закрыт и она не будет ему ничего отпускать. Он начал настаивать, доказывать, что у него чек выбит. Ему было предложено сдать чек в кассу. Он продолжал требовать. Милиционер сзади схватил его и хотел вывести из магазина, а Дмитрий вырвался и оттолкнул его. Ему дали полтора года. Он вернулся после заключения и снова попал в тюрьму. К Вере пристал какой-то молодой человек, он, естественно, вступился, они подрались и снова подоспел милиционер, которого Дмитрий тоже ударил. Теперь ему уже дали пять лет

заклучения, за нападение на представителя власти, и отправили в город Рыбинск. Все эти голодные годы войны Вера жила с Мусей в ожидании возвращения мужа. Работала в школе, сначала в младших классах, а потом в пятом классе преподавала географию. Ну, получала, конечно, служащую карточку и гроши. Вера очень любила Дмитрия, была предана ему. Они с ним дружили около семи лет до замужества, хотя мой папа сразу был против этого брака, так как Дмитрий еще будучи женихом, правда немного, но выпивал. Освободили его раньше срока, но не разрешили жить в Москве, оставили как бы в ссылке в Рыбинске. Вера после войны ездила к нему, забеременела, а 12 февраля 1946 года умерла до рождения ребенка. У нее был сильный порок сердца, она задыхалась. Уже в больнице, будучи шести месяцев беременности, она не соглашалась делать аборт. В тяжелом состоянии она дала согласие, чтобы у нее вызвали преждевременные роды, когда исполнится семь месяцев беременности, но умерла за неделю до этого срока. Она очень надеялась на благополучный исход, готовилась к этому сама и просила Мусю подготовить, по возможности, все условия дома для принятия недоношенного ребенка. Она очень любила детей и сознательно шла на риск. На ее похороны пришли учителя, директор школы и несколько классов ее учеников, которые выстроились у нас во дворе и гуськом проходили у нас в комнате возле ее гроба. Я в это время жила в Риге, и пока добилась разрешения, на ее похороны опоздала. Тело ее сожгли в крематории и урну с прахом положили в гроб к Миле, Люсиной маме. Так что она тоже похоронена на Ваганьковском кладбище.

Итак, 1 ноября 1942 года я получила повестку из военкомата о моей мобилизации, где было указано, куда и с какими вещами я должна явиться. А явиться я должна была в Сад им. Баумана, рядом с Садам Баумана был военкомат. Заявление о моем добровольном желании идти на фронт я подала еще раньше, надеясь, что меня пошлют медсестрой или санитаркой на фронт. Тогда положение на фронте становилось все опаснее. Фашисты быстро

наступали, теснили наши войска, город за городом переходил в их руки. В ответ на эту беду населением, особенно молодежью, овладело такая волна патриотизма, что сейчас даже трудно представить. Очень часто в Москву приезжали военные, которые рассказывали о трудностях на войне, или военные, которые ехали из госпиталей, наши учащиеся, с которыми я раньше занималась, заканчивали училище и спешили на фронт. Многие девушки ушли. Моя подруга Мара ушла, она была в частях авиации. В громкоговорителях раздавались военные песни, призывы, марши, а жизнь, между тем, все ухудшалась, день ото дня. Сокращался паек, и по карточкам давали все меньше и меньше, заменяли какой-нибудь ерундой основные продукты.

Папа отнесся к моему уходу в армию очень мужественно — помню, как он провожал меня и дошел только до Аптекарского переулка и сказал: «Дальние проводы — долгие слезы». Посадил меня на трамвай у Аптекарского переулка и сказал: «Не забудь заповедь мою: береги платье снову, а честь смолоду», а сам, придя домой, повесил мое пальто на вешалку и так оно висело до его смерти. Он говорил, что представлял себе, что я дома и только вышла в коридор. Глядя на мое пальто, он вспоминал меня.

Первое время в армии нас долго очень не отпускали в увольнение, но можно было писать письма, что я и делала очень часто. Я, конечно, не писала о своих трудностях, а рассказывала только о своих успехах.

Как только нас привезли в армию, выстроили всех в один ряд и разделили сразу на две части. Значит, по росту выстроили — больших в одну часть, маленьких в другую. Я отнеслась к среднему росту, поэтому меня направили на обучение шоферов, а маленьких — связистами. Нас распределили по взводам — я была в третьем взводе по росту и спали мы в какой-то школе, кровати были в два ряда. Надо мной спала какая-то девушка, очень симпатичная, а утром, когда я проснулась, я услышала страшнейший

мат от этой девушки. Я была в ужасе. Первое время мне было очень тяжело привыкнуть к манере разговора между девушками. Девушки были разные — в моем взводе были не очень образованные девушки, а вот в первом взводе были все почти девушки из института. Как я туда попала, видимо, только из-за роста. В письмах своих я не хотела расстраивать папу, да и жаловаться у нас в семье было не принято, а во-вторых, все наши письма прочитывались, некоторые не пропускали. Помню, как моя подруга, Тамара Цветкова плакала: ее вызвали и отчитывали за какие-то подробности. Меня переписка очень спасала — никто в кубрике не получал такого количества писем, и я писала домой, друзьям на фронт, а их было так много... Иногда получала письма с сообщением о геройской гибели, и обратно присылались мои фотографии. Некоторые адреса я раздавала девушкам, и они продолжали переписку. Все это были треугольники без марок, а бумагу нам выдавали, так как мы учились: делали записи, рисунки, чертежи и схемы по автоделу.

Нарушая хронологическую последовательность своего рассказа, хочу вам сказать, что лето и осень 42-го года, несмотря на усиливающийся голод, оставили у меня очень хорошие воспоминания. Во-первых, было тепло и было легче переносить голод и отсутствие электричества и воды. Можно было спать без одежды. Вода в доме была отключена всю войну. Мы ходили на колонку за водой, которая находилась через дорогу во дворе, напротив наших ворот. Туалет работал, но надо было его сливать своей водой, так что в комнате стояло ведро, куда мы выливали помой и держали это для слива. Пробовали ставить эти ведра в коридор, но их воровали. Да и во время тревоги летом куда легче было тушить зажигалки, которые падали на крышу. Зимой пожарные лестницы, по которым мы туда забирались, были очень скользкими, да и сами крыши тоже. Я была в бригаде, которая тушила зажигалки на деревянном доме, что напротив нашего дома. Бомбежки, как правило, бывали чаще всего ночью. Старики и дети уходили в бомбоубежище (правда, мой папа никогда не прятался в бомбоубежище), а

молодежь, в основном девушки и подростки, кого еще не взяли в армию, были очень четко распределены по участкам на крыше. С сигналом по тревоге мы вскакивали, одевались и бежали на свои посты. С крыши были видны все пожары. Как-то был большой пожар на ликерно-водочном заводе. Но особенно сильный взрыв был на газовом заводе. Газовый завод был недалеко от нашего дома. Если идти по набережной Яузы в сторону Курского вокзала, то на правой стороне были огромные цистерны. До войны мы только знали, что этот завод назывался газовым и не придавали этому никакого значения, а вот в войну он нам дал о себе знать. От взрывов и пожаров в нем сгорели многие дома, которые были рядом. Не знаю, как уцелела только церковь Вознесения. Даже у нас в комнате были выбиты два стекла. Удивительно, что я не помню, чтобы бомбы попадали на завод ЦАГИ.

На дачу мы даже не ездили, не до дачи было. Я продолжала свои дежурства в госпитале до ухода в армию, а еще осенью мы ездили с Мусей и Верой в отдаленное Подмосковье и меняли там вещи на картошку, морковь, брюкву и капусту. Одним словом, на те продукты, которые там поспевали к этому времени. Ездили всегда втроем, а иногда и группами. Узнавали где лучше, какие запросы у них. Ездили группами потому, что в вагонах и на станции часто нападали и отнимали продукты. Меняли мы посуду, серебряные ложки, вещи из папиного кофра. Так мы выменяли мамину каракулеву шубу, которая предназначалась Мусе после окончания института, роскошное теплое одеяло, это было уже мое приданое, оно было новое, привезенное из Китая, пуховое, шелковое и очень красивое, всего за два килограмма картошки. А вот театральный бинокль, который привлек такое внимание, что в него смотрела вся семья, выменяли на три кочана капусты. Или чудный японский сервиз, от которого сейчас у нас осталось несколько тарелочек, уходил за брюкву и морковь. Встречали нас там недружелюбно. Мы ходили по деревням и предлагали свой товар, стучали в двери, окна. Нам открывали с короткими словами: «Ну, что там, показывай».

Назначали количество овощей, которое могут дать, а иногда просто молча перед носом захлопывали окна и двери. Лучше всего умела договариваться Вера, а мы с Мусей только таскали вещи и демонстрировали их. Вере нельзя было ничего носить из-за порока сердца. Папа шутил насчет бинокля, зачем он им пригодится, и строил какие-то предположения, а мы смеялись.

Больше всего ценилась одежда и гребешки для вычесывания вшей, а особенно галоши. Муся с Верой выменяли свои модельные туфли, но если бы это были галоши, за них бы дали гораздо больше. Сейчас я вам объясню, почему галоши так ценились. Поскольку в продаже никаких товаров не было, а обувь снашивалась быстрее всего другого, все были заинтересованы получить галоши. В это время все шили себе из сукна или меха чуни, типа валенок. Я шила на своей машинке из сукна, снизу подкладывалась какая-нибудь старая подкладка, ватин, и прострачивалось все это на машинке сверху вниз вертикальными полосками, а подошва иногда пришивалась отдельно, а иногда просто прострачивалась посередине. Они были высокими, как валенки, а на них надевались галоши. Такую обувь мы носили с осени и до лета. Летом — вязаные или, у кого были, босоножки, потом уже начали появляться какие-то красивые парусиновые тапочки на резиновой подошве, их называли торгсинками. Говорят, что это была гуманитарная помощь из США. Не знаю, кому доставалась эта помощь, но наша семья никогда, за всю войну, не получала ни одной вещи.

И все же я находила время на развлечения. Я встречалась со многими молодыми ребятами, которые после госпиталя снова возвращались на фронт, или после окончания училищ были проездом в Москве. Среди них были и мои одноклассники, и просто новые знакомые. Ходили с Машей Куликовой на танцы в Сад Баумана. Я даже там иногда получала призы. Помню, один раз в танце на приз у меня отскочил каблук, но я продолжала танцевать, не обращая внимания, и в этом танце тоже получила какой-то приз. Не знаю, за мое терпение или за сам танец. Вот только не могу вспомнить какие это были

призы, но это не главное, просто это было очень приятно, и Маша всегда гордилась мной. Она никогда не завидовала мне. После танцев ребята провожали нас до дома, много рассказывали. Они почти все были очень скромными. Попадались такие, которые вообще никогда не встречались с девушками и были очень рады такому знакомству, просили писать им письма на фронт и были просто счастливы, если мы им дарили свои фотографии. Встречи были с ними мимолетными — три-пять дней — и они уезжали на фронт. С некоторыми из них мы вели переписку и потом получали похоронки. Кинотеатры, в основном, были закрыты под госпитали или какие-то склады, а вот кинотеатр «Колизей», что на Чистых прудах, был открыт, и нас молодые люди туда приглашали и даже угощали мороженым, а перед фильмом в фойе там пел Козин, Утесов и другие знаменитости. Библиотеки тоже были закрыты, кажется, в это время я ничего не читала, во всяком случае, не помню.

То, о чем я хочу вам рассказать можно было бы назвать главой «О моей службе в армии». Итак, нашу автороту, состоящую из 150 девушек, разделили на пять взводов и поселили на втором этаже трехэтажного кирпичного здания, на территории Московского флотского экипажа. На первом этаже была баталёрка, склады с обмундированием и продуктами, камбуз, т. е. столовая, санчасть с маленьким изолятором на две койки. Что было на третьем этаже, я точно не знаю, нам строго запрещалось туда ходить. Думаю, что там селили военных перед отправлением на фронт, так как иногда ночью, выходя в туалет, я могла застать свидание, парочку какую-нибудь. Откуда брались они, не знаю. К нам на этаж тоже было запрещено заходить, кроме командира роты, старшины, наших педагогов и женщины-врача. В каждом взводе было по тридцать девушек, одна из них была назначена командиром взвода. Это здание было бывшей школы, с большим длинным коридором, на нем было пять классов-кубриков и кабинет нашего командира с предбанником для старшины, два туалета, т. е. по-морски

галльона, в разных концах коридора, ну как обычно это бывает в школах. Коридор был большой, широкий, на нем свободно выстраивалась вся рота по несколько раз в день. Утром, перед завтраком, после завтрака, перед тем как идти в школу на занятия, перед обедом, потом снова построение, чтобы идти для продолжения занятий, потом снова построение на ужин, затем на вечернюю прогулку и еще раз после вечерней прогулки, на вечернюю поверку перед сном. И каждый раз шла перекличка и доклад командира взвода об отсутствующих или больных. Иногда была и проверка по ночам, по ночным тревогам, ложным, конечно. Нас поднимали по тревоге, выстраивали, проверяли и распускали досыпать снова. В дверях коридора, с обеих сторон, стояли всегда дежурные из наших девушек, которые не должны были пропускать никого, кроме названных мною лиц. Всегда и везде мы ходили строем — в столовую, на занятия или на работу, в баню или в кино и т. д. Территория Московского флотского экипажа была большой, всегда очень чистой. Открытый участок, летом с зеленым газоном, но ни одного деревца. Вся территория была огорожена высоким забором с проходной, где дежурили офицеры. Главный корпус Московского флотского экипажа стоял поодаль от нашего здания. Это было, по тем временам, красивое большое здание, там жили офицеры, их начальник, была столовая и был большой зал на первом этаже. Я там всего была несколько раз. Так как обычный школьный класс — это не очень большое помещение, наши койки стояли в два этажа — две внизу и две вверху, потом узкий проход, где стояла маленькая тумбочка на четверых и опять четыре рядом — две вверху и две внизу — так по двум стенкам, а в середине проход. На стене, где в школе обычно висит доска, висели наши шинели и шапки. В кубриках была идеальная чистота. Дежурство было по очереди. Мы же не переобувались, поэтому полы мылись три-четыре раза в день. В кубрике разрешалось находиться только ночью или в свободное время, отведенное в определенные часы. Ходить в чужой кубрик запрещалось. Распорядок дня был четкий и строгий. Подъем в 6 часов утра, потом построение на завтрак, завтрак, опять

построение на занятия по теории: в другое здание мы шли, которое находилось от Московского флотского экипажа километрах в трех. Шли строем, обязательно с песней, типа «...мама не горюй, на прощанье поцелуй...», «Уходили комсомольцы на гражданскую войну» и т. д. Здание школы, где проходили наши занятия, было старым двухэтажным, типа барака. Там было несколько печей, которые надо было беспрерывно топить углем круглые сутки. Для этого был установлен график дежурства — повзводный и пофамильный — два человека топили ночью, два человека днем. Дежурившие ночью не освобождались от занятий. Там мы занимались каждый в своем классе с прикрепленным к нам офицером. Занимались мы с 8-ми часов утра до 2-х часов дня. И потом строем шли в «Экипаж», т. е. в свое здание при «...экипаже» и там обедали и тут же возвращались обратно. Четыре взвода продолжали занятия по теории с преподавателем, а пятый, т. е. один взвод, шел на практику по вождению, так как машин на всех не хватало. Занимались мы с 16-ти часов до 7-ми часов вечера и снова нас вели на ужин к 20-ти часам. Потом, после ужина было свободное время, это, приблизительно полтора часа, точнее до 10-ти часов вечера. Потом снова построение на вечернюю прогулку. Ох! Как же не хотелось из теплого помещения выходить снова на мороз. В 11 часов — отбой, и старшина начинал бегать по кубрикам и проверять, все ли на своих койках и не лежит ли кто-нибудь вдвоем. Через неделю после нашего прибытия в «Экипаж» мы получили обмундирование — тонкую черную морскую шинель, шапку-ушанку и берет, форменку, юбку, гюйс, тельняшку, трико, черные чулки в резиночку и мужские ботинки со шнуровкой. Ничего другого носить было нельзя — даже бюстгальтер или пояс, который держал бы чулки. Первое время мы все мучились, особенно с чулками, подвязывали их тряпками, они спускались, пока нас не стали отпускать в увольнение, где мы могли сшить себе круглые резинки, чтобы не спускались чулки и застались тряпочками на случай менструации. Тряпочки мы приспособились всегда держать за пазухой, так как в кубрике ничего

лишнего держать было нельзя, кроме гребешка, полотенца, бумаги и карандаша.

Как только мы были облачены в форму, в выходной день нас повели строем в здание «Экипажа», где мы побывали впервые и принимали присягу строем и хором пели с командирами «Экипажа». Проходило это все торжественно. Когда торжественная часть закончилась, нас повели в кинозал, где мы смотрели какой-то военный фильм. В другой раз я была в «Экипаже», когда группу краснофлотцев привели туда для вступления в комсомол, причем нас никто даже не спросил о нашем желании, это было как-то само собой разумеющееся дело, и получили там, расписавшись, комсомольский билет, который должны были хранить всегда при себе, во внутреннем кармане форменки.

Кормили нас очень обильно, ну просто на убой. Я сразу начала толстеть. Пища, правда, была грубая, но много, и хлеба тоже было много. Утром, на завтрак — целая миска какой-нибудь каши, пшеничной там или гороховой, чай, два кусочка сахара и два куска черного хлеба, а между ними 15 г сливочного масла. На обед — целая миска щей или борща, довольно вкусного, на второе — каша с мелкими кусочками мяса. На ужин — картошка и по целой неочищенной селедке, вот селедку я никогда не ела. Я не знала, как к ней подступиться. Причем ее раздача была особенно неаппетитной. В нашей столовой стояли длинные, узкие деревянные столы, даже без клеенок, и за каждым столом сидело 15 человек. Все столы стояли на одной стороне, по одной стенке и были узкой частью придвинуты к окну, чтобы освободить проход и подступ к окошку на кухню. За каждым столом, значит, сидело 15 человек, 15-ый сидел с краю, у прохода, а по бокам с каждой стороны по семь человек. 15-ый каждый день менялся, это был раздатчик, который должен был принести огромную кастрюлю с первым и разлить всем по мискам, потом так же второе, а вот селедку он приносил в миске и швырял ее через весь стол, она скользила до крайне сидящего, ехала

прямо. Почему-то все хотели быть раздатчиками. Здесь не было никакого даже графика дежурства. Я всегда уступала свою очередь, меня не привлекала эта роль. Итак, я ни разу не была на раздаче. Первое всегда оставалось и можно было даже получить добавки, а вот второе раскладывалось точно определенное количество ложек. Даже если я просила, чтобы мне меньше, мне все равно клали сколько положено. Я отодвигала часть и всегда находились охотники доест мой остаток, моя селедка тоже делилась. Я просто не привыкла есть так много. Кроме того, девушки за столом держались так некрасиво, ели так неаппетитно, жадно, чавкали. Сначала я относилась к этому за счет того, что раньше они были изголодавшиеся, в их оправдание вспомнила себя в первый день, когда я пришла в эту столовую. У меня чуть голова не закружилась от вкусного запаха, обилия горячей и, как мне показалось, очень вкусной пищи, но потом я поняла, что это просто манера такая есть, это признак плохого воспитания. Со стороны девушек я никогда не слышала осуждения меня, но зато выражалось какое-то удивление.

Не могу сказать, что меня в нашем кубрике любили, но уважали, часто советовались в каких-то сложных ситуациях, завидовали моей обширной переписке. У меня на подушке почти каждый день лежал треугольник-письмо от кого-либо. Называли воображалой, недотрогой. Я уже говорила, что в конце коридора стояли два дежурных, которые не должны были пропускать никого, но иногда они, по просьбе военных с верхнего этажа, нарушали этот указ. Помню, как-то ночью меня будит дежурный и говорит: «Иди, тебя вызывает какой-то...». «Кто?» — спрашиваю. Отвечает: «Не знаю». Обрисовал тебя, говорит: позови из третьего взвода такую-то». Конечно, я ответила: «Что я с ума сошла, ходить на свидание по галльюнам?». Дело в том, что коридор был освещен все таки немного, а вот в галльюнах, т. е. в уборных, света совсем не было, экономили, поэтому свидания там

проходили, когда дежурные были непринципиальные, не выполняли приказа и пропускали молодежь. А начальству, думаю, это и в голову не приходило.

Я очень переживала за папу все это время, зная, как он страдает от голода. К тому же он теперь он был лишен моего донорского пайка. А у меня столько еды было, которой я бы вполне могла с ним поделиться. Первое время нас не отпускали в увольнение, потом очень редко, иногда вдруг совершенно неожиданно. Увольнение мог разрешать только командир роты. На каком-нибудь из построений он объявлял несколько фамилий, мы выходили на шаг из строя и нам вручалась бумажка-увольнительная. Передо мной встала задача как на такой случай иметь запас еды, которую можно было бы отнести домой. Собирать-то я могла хоть каждый день, но вопрос в том, где держать. Из столовой почти все выносили с собой все, выносили кусок, или даже два куска хлеба, а между ними кусочек масла, это не возбранялось, да и можно было спрятать в боковой карман юбки. Но всегда все съедали его в перерыве между занятиями. Положить же это в тумбочку — это значит, что его выкинут, а мне дадут наряд мыть галюны. Наш старшина был такой грубый, тупой, бессердечный человек. При проверке, например, он резко срывал одеяло и простыни, переворачивал матрас, проверял содержимое тумбочки, даже отодвигал ее. Но мне, с помощью хитрости, удалось все-таки его провести. В одном из увольнений я дома сшила из старой клеенки такой плоский мешочек, ну типа вот наших сейчас пакетиков, с двумя петельками по бокам. В него можно было положить несколько кусочков хлеба, а между ними несколько порций масла и кусочек пиленого сахара. Дома нашла два небольших крючка, которые прикрепила к дну тумбочки снизу и подвешивала его туда, под тумбочку. Но проблема была в том, чтобы это устройство приспособить и выбрать момент и положить туда так, чтобы никто не увидел. Тут надо было идти на разные уловки. Иногда хлеб у меня пролеживал в кармане целый день, и только

ночью, когда все спали, можно было его спрятать. Ведь в наше время никому нельзя было доверять.

Командир роты у нас был очень приятный интеллигентный человек. Высокий, статный, без одной руки, лет пятидесяти. Он почему-то напоминал папу. Да, забыла еще сказать, что каждый взвод был разбит на три бригады. Я была выбрана, не назначена, а выбрана, бригадиром. Думаю, что это делалось для облегчения организации разного рода работ. Так вот командир иногда вызывал к себе бригадира, беседовал, давал какое-нибудь поручение. Так, в одной из бесед я рассказала ему, что дома у меня остался старенький больной отец. Помню все фамилии преподавателей по взводам, даже командира Московского флотского экипажа, которого я видела всего два раза, полковника Левицкого, который, между прочим, кончал институт вместе с вашим отцом (*мужем З.Н.*), Одесский институт водного транспорта. А вот фамилию этого доброго командира никак не могу вспомнить, к сожалению. Так вот, этот командир роты проникся ко мне какой-то симпатией и чаще других давал мне увольнительную, объясняя ее отличной учебой и дисциплиной. Но чаще всех, каждую неделю, получала увольнительную наша девушка, командир взвода. У нее был маленький ребенок, которого она оставила матери, а муж погиб на фронте. Командир был очень строгим, но не мелочным. На некоторые наши оплошности смотрел сквозь пальцы, не придавал им значения. Видимо, ни фронт, ни потеря руки его не ожесточили, а, наоборот, сделали более человечным. Потом я решила, когда меня не отпускали в увольнение, отдавать свои запасы одной женщине, Бирюковой, у которой был ребенок, правда, она меня в конце тоже подвела, когда у нее проверяли вещи.

В армии была еще и такая общая для нас трудность — никто не считался с тем, что мы девушки, а у нас бывали каждый месяц периоды, когда нам нужны тряпочки, их надо и постирать, и посушить. Мы стирали их ночью, под краном и сушили своим теплом, подкладывая их под простыню, а

днем чистые, чаще всего еще не совсем высохшие, держали за пазухой. Очень многие страдали от того, что не умели ровно, без единой складки, заправлять койку и получали внеочередные наряды. Я от этого никогда не страдала, потому что моя койка была заправлена идеально, в тумбочке был всегда порядок. Но вот грубости и хамства старшины я просто не переносила. Молчала, конечно, но, по-моему, он чувствовал это по моему взгляду. Он меня ненавидел и старался всегда придраться. Проверая меня, он всегда приговаривал: «Ну, а что у нашей интеллигенции?» Мне не трудно было ни работать, ни учиться. Я и бревна с вагонов сбрасывала легко, а вот окружение, серость, язык, на котором говорили окружающие, все это очень угнетало меня. Я и раньше слышала ругань, конечно, и мат от мужиков, но когда девушки так говорили, это почему-то звучало ну в десятки раз ужаснее. Была у меня подруга из первого взвода, студентка ГИТИС'а третьего курса Тамара. Мы с ней могли встречаться изредка, поговорить только стоя в коридоре. В чужой кубрик нельзя было входить, запрещалось. Иногда в том же коридоре несколько минут разговаривала с преподавателями, офицерами. Но наш лейтенант Потемкин, который вел наш взвод, был пьяница, часто пропускал занятия, да и говорить с ним было не о чем, а вот в первом взводе был очень интеллигентный, приятный лейтенант Абрамов, он было намного старше, но умный и приятный человек. Лейтенант Фомкин, который вел второй взвод, чересчур симпатизировал мне, и поскольку он мне не нравился, я старалась держаться от него подальше. Он был москвич, имел двоих детей и говорил мне, что готов бросить все ради меня. В пятом взводе был вообще непробудный пьяница, его редко даже было видно, а вот в четвертом взводе преподавал лейтенант Френк. Помню, как еще перед самым началом занятий нас распределили на мытье и уборку помещения. Некоторые девочки попали к нему и должны были убирать школьные классы. Когда они вернулись, то только и твердили: «Ой, такой красивый, похоже, он француз...» и все хотели попасть к нему во взвод. Я сразу усомнилась и сказала: «Спорим, что в два счета увлеку, если только захочу», они надо мной смеялись и говорили,

что этот красавец никому не отдает предпочтения. Но это я просто шутя сказала, а когда увидела его, то, конечно, согласилась с ними, что он красивый, но только никакой он не француз, а просто еврей; потом про все это я забыла, проблемы у нас другие были, да и не виделись мы почти. Иногда, правда, он приходил к нам в класс и заменял нашего лейтенанта-пьяницу. Я, как всегда, сидела за первой партой и, если мне было что-то неясно, задавала вопросы. Потом мне папа всегда говорил, что я так внимательно смотрела на него и всегда хорошо отвечала, что образ моих умных глаз представлялся ему и вне работы. Позднее до меня дошел слух, что он женат, у него ребенок, что он приударяет, как говорили, за той симпатичной девушкой, Софьей Кокешкиной, которую я встретила впервые и услышала от нее страшнейший мат, и что она тоже к нему равнодушна. Но в то время мне было это безразлично, я только мечтала: скорее бы закончить да уехать на фронт. А в своем кубрике я ни с кем особенно не дружила — их разговоры меня не интересовали и, как я уже говорила, в свободное время успевала только отвечать на письма, держалась как-то обособленно.

В баню нас водили два раза в месяц. Там мы сбрасывали свое вшивое белье и получали чистые три предмета: тельняшку, трико и чулки, которые надо было тоже перед тем, как надеть, тщательно проверить на вшей. Нательные вши нас мучили всех. Иногда мы их снимали друг у друга, когда они ползли по форменке, на ее фоне они сразу были заметны, белые, бесцветные, с черной крапинкой на спинке. Так я впервые узнала, чем отличаются нательные вши от волосяных. Когда я приходила домой, я проглаживала свою одежду утюгом, но это было ненадолго. Как-то я не выдержала и сказала об этом командиру, он очень быстро среагировал. Нас всех провели через санпропускник и выделили один электрический утюг на всю роту. Утюг этот часто ломался, потому что не все умели им пользоваться, да и я никогда не видела такого, и очередь к нему была

постоянно огромной. Но от этого напастья мы все-таки избавились, правда, не сразу.

По выходным дням нас возили, вернее, водили на разгрузку бревен на железнодорожный тупик, где надо было залезть на товарный вагон и вдвоем сбросить вниз, а там грузили на грузовые машины. Помню, как старшина кричал: «Ну, кто не хочет рожать, вот хорошее бревнышко». Они, действительно, были очень тяжелые. У меня менструации стали проходить через каждые две недели, я терпела, терпела, потом обратилась в медсанчасть, врач мне сказал: «Ничего страшного нет, сейчас это у многих девушек». Дал какое-то лекарство.

А в те дни, когда нас водили в баню, это надо было идти куда-то очень далеко строем, потом было ведь нас много, мылись по очереди, ждали на морозе, зато потом нас водили в кинозал «Экипажа». Вот там лейтенант Френк и обратил на меня внимание, он как-то оказался сидящим сзади меня. Там полагалось, чтобы каждый взвод занимал ряд и вместе с ним сидел командир. Вдруг кто-то коснулся моих волос и восторженно воскликнул: «Ой, это же чистое золото!». Оборачиваюсь, а сзади сидит лейтенант Френк. «Это вы? — говорит он, — А я вас не узнал...», смущенно как-то. Дело в том, что у меня волосы были длинные, и я их постоянно подбирала под беретку, под шапку или заплетала косички, чтобы они не мешали мне заниматься или работать, а в тот день после бани я их распустила, чтобы они скорее просохли. Это был первый разговор между нами. Потом в здании школы в одно из моих дежурств заявляется проверяющий офицер по части, а такие проверки были всегда, и уже не случайно, как, правда, потом он мне признался, опять лейтенант Френк. У нас списки и графики дежурств были вывешены и в школе, и в части. Дежурили мы вдвоем с одной из девушек. Надо было подбрасывать уголь в печи на двух этажах, следить, чтобы они не погасли. Лейтенант Френк задержался у нас недолго, помогал, разговаривали. Обычно такая проверка проходила значительно быстрее.

После этой встречи он мне незаметно передавал письма, записки где-нибудь в коридоре, на лестнице. Ответа я не писала, но читать мне было приятно. И тут вдруг вводятся погоны. Их надо было пришивать к кителю. Все командиры стали просить девушек им помочь. Заходили в кубрик, конечно, это были только наши преподаватели, инструкторы по вождению. В этот день я снова должна была топить печи и в здании школы, и он пришел туда с такой просьбой — уже не как проверяющий дежурный. Долго сидели, разговаривали. Он мне помогал подносить уголь, я пришивала ему погоны. Мы находились близко друг от друга, когда я примеряла, и он меня очень смело вдруг поцеловал, но я не оттолкнула его, не дала пощечину, что я это делала обычно в таких случаях. Мой папа всегда читал мне эту строчку: «Никогда не давай поцелуй без любви». Так и начались наши короткие свидания, переписка, скрытая, конечно. Потом мы начали договариваться, чтобы вместе пойти в увольнение. Приходили домой к папе. Папе он понравился — моряк, с кортиком, подтянутый. Папу нельзя было остановить — он много рассказывал, как и он был моряком, про русско-японскую войну, даже вытащил свой морской китель из кофра. Так мы были у нас дома раза три, а остальное время — это переписка. Он, правда, предлагал мне придти в кино в «Экипаж», а что я там бы делала, что это давало — сидишь где-нибудь совсем в другом ряду, со своим взводом, и только можешь взглянуть. Я редко соглашалась, издали мы могли видеть друг друга и в школе, надо ведь было, чтобы никто и не заподозрил о наших отношениях. Я предпочитала в те дни, когда ходили в кино, оставаться в кубрике одной.

Приближался новый, 1943 год. Я получила от Френка записку, что в Московском флотском экипаже привезли большую елку, в зале будут танцы и чтобы я обязательно приходила. Действительно, всю нашу роту вместо вечерней прогулки повели в здание «Экипажа» накануне Нового года. Там была небольшая торжественная часть, нас всех поздравили с Новым годом, пожелали победы и начались танцы вокруг елки. Офицеры были все уже

навеселе, на редкость раскованы. Они уже успели перед этим отметить встречу Нового года у себя в кают-компании. Ваш папа, ваш будущий папа, танцевал со мной весь вечер. И танцевал только со мной и очень прижимал меня. Мне это не нравилось, это было даже неприлично, по моему мнению. Потом он что-то вспомнил и сказал, что сходит для меня за подарком. Тут меня в танце подхватил лейтенант Фомкин, он танцевал лучше папы, он проделывал такие па и выпады. Помню, что мы танцевали с ним танго, что наша пара осталась в кругу одна и нам аплодировали все, и мы получили приз — красивый блокнот и ручку самописку — тогда это была редкость. Фомкин, по-джентельменски, отдал весь этот приз мне и красиво проводил меня на место. Папа стоял с недовольным лицом, а в руках держал для меня две мандаринки. Оказывается, офицерам выдали их по случаю праздника на ужин. Потом мы с папой продолжали танцевать, он все время выяснял, с кем мне приятнее танцевать, нравится ли мне Фомкин. Я откровенно призналась ему, что приятнее мне танцевать с ним, но я не люблю, когда меня в танце так прижимают. После чего он все старался держаться на расстоянии. После танцев нас построили и увели в свое здание. Что тут было в кубрике. Девчонки только и говорили о лейтенанте Френке. Как это мне удалось его заарканить, они даже ничего не заметили. Вот это их, по-моему, больше всего беспокоило. «Вот тебе и тихоня» — говорили они и так далее. Я, конечно, отнекивалась и ничего им не рассказывала. Дальше жизнь текла своим чередом. Как-то я получила от папы записку, что его посылают в Ярославль на полтора месяца, прочитать там курс лекций по морскому делу. Я часто получала от него из Ярославля письма, переполненные признаниями в любви, где он предупреждал меня, что Фомкин такой-сякой и чтобы я не верила ему и не поддавалась на его ухаживания, что он крутил и обманывал девушек еще из предыдущего выпуска. Дело в том, что наш выпуск был вторым и последним в этой автошколе. Потом уже набирали только ребят. Но письма свои не подписывал, наверное, боялся цензуры. Писал только «Твой друг».

В «Экипаж», в кино я совсем перестала ходить, тем более, что к нам на этаж начали приносить библиотеку-передвижку из «Экипажа» и можно было выбрать что-нибудь для чтения. Иногда все оказывалось давно прочитанным, и тогда я просила передвижника сделать для меня письменный заказ. Иногда из моего заказа некоторые книги были вычеркнуты, и передвижник мне объяснял, что они запрещены. Сейчас уже точно не помню, что это были за книги. Кажется, это были Гейне и Шиллер. А так за все время до этого я не прочла ни одной книги, а вот со старшиной у меня отношения все накалялись и накалялись. Его еще раздражало, что я не хожу вместе с ротой в кино, читаю сию. Каждый раз он заглядывал в кубрик узнать, чем же я занимаюсь, фыркал и уходил. Он просто органически меня не выносил, тем более, что за учебу мне выносили благодарности и моя фотография висела на стене в коридоре в числе лучших краснофлотцев-отличников. Но все-таки ему удалось меня подловить. Как-то раз, когда нас выводили на вечернюю прогулку, было темно и скользко. Я поскользнулась, выходя из помещения, и ухватилась за локоть рядом идущей девушки. Ну, что тут было! Он что-то воскликнул. Надо было видеть его злорадство на лице. Тут же на морозе построил нас около здания и скомандовал: «Краснофлотец Штейп, выйти из строя, вы что — в армии или в парке под ручку прогуливаетесь? Трое суток гауптвахты». Я ответила, как полагается: «Есть, трое суток гауптвахты, товарищ старшина!» и встала в строй. По возвращении с прогулки, с меня был снят гюйс и перед всем строем нужно было расшнуровать ботинки и отдать ему шнурки. Но ему и тут не повезло. Я тут же в таком виде — без гюйса и шнурков — пошла к командиру роты. «Что случилось?» — сразу спросил он меня. Когда я ему все объяснила, он заставил старшину самого отменить свой приказ перед всей ротой и отдать мне шнурки и гюйс.

Потом начались экзамены с присутствием инспектора из ГАИ, а после их сдачи — усиленная практика вождения. Нам выдали документ шофера 3-его класса, и началось распределение. На практике я всегда очень мерзла,

даже в марте. Ездили на грузовой открытой полуторке десять человек в кузове. Одна из нас, значит, за рулем. В кабине очень мерзли ноги, в ботинках на тонкой кожаной подошве, кажется, что нога просто примерзала к стартеру, а в кузове было еще холоднее — ветры. С каждым днем становилось все теплее, и мы с нетерпением ждали, куда же нас пошлют. Потом нас всех построили и объявили, что группу из 15-ти человек, это, в основном, были отличники, оставляют в Москве для работы в гараже при Центральном военном управлении, начальство возить, а 135 человек отправляют на юг, на фронт, на кавказское направление. Позднее мы узнали, что весь эшелон с девушками погиб, они даже не доехали до места назначения, их разбомбили по дороге.

Оставленных в Москве поселили в воинской части при гараже, на первом этаже, в одном кубрике. К каждому была прикреплена машина, и надо было ее подавать то ли по договоренности со своим начальником, то ли по его вызову в любое время дня и ночи. Я должна была возить какого-то генерала, которого даже не знала по фамилии. В воинской части служба проходила куда спокойнее и свободнее, кормили, правда, хуже, да и понятно, потому что голод в стране все увеличивался, но мне хватало и даже спокойно могла собрать кое-что для папы. Здесь нас не так проверяли, хотя и была проходная, но нас, девушек, было четырнадцать человек, и легко было всех запомнить. Пятнадцатая, Софья Кокешкина, осталась работать при Московском флотском экипаже, кажется, секретаршей. У нее там был жених, который за нее хлопотал. В проходной был телефон, так как мог звонить наш начальник. Ваш папа мне тоже иногда звонил и мы договаривались с ним о встрече. На втором этаже была еще небольшая группа ребят-шоферов. Один из них, Володя Дозоров, сразу стал моим другом. Он ездил на большой машине с цистерной. Так мы его и прозвали бензовозом. Этот парень был артистом какого-то ленинградского театра, очень милый, неуклюжий и добрый. Мне он помогал с ремонтом. Чинил мою машину, даже тренировал

меня ездить на легковой ЭМК'е, а это было нелегко, так как мы проходили практику только на грузовой, а тут и управление, и принцип работы несколько другой. Я как-то нажала на стартер, а она как рванет... Так он со мной поездил немного как стажер. Когда меня первый раз вызвал начальник, я неслась как угорелая. Меня приветствовали шоферы с других машин, махали мне руками, улыбались. Я очень довольная, что самостоятельно проехала трудный участок, а это была развилка на Арбате, перед метро, очень сложная, тогда там не было подземного шоссе. С шиком остановилась у подъезда Центрального военного управления, вышла из машины, чтобы из проходной позвонить генералу, что машина подана и вдруг увидела, что одна из передних фар у меня сорвалась и буквально висит. Тут я поняла, что это не приветствовали меня, а предупреждали или смеялись надо мной. Ну, я ее кое-как поправила и позвонила. Когда генерал подошел к своей машине, он явно высказал разочарование: «А я-то думал, что краснофлотец Штейп это будет опытный парень». Мы поехали. Так мы ездили с ним полтора месяца.

Машина была всегда в идеальном порядке. Это обеспечивал Володя Дозоров, приговаривая: «Брысь отсюда, я доложу тебе, когда машина будет готова!» или «Да разве я могу допустить, чтобы ты ползала под машиной и такими нежными ручками гайки закручивала или меняла колеса». Друг он был замечательный. Он целые дни проводил в гараже — возился то с моей машиной, то со своим бензовозом, только от него всегда ужасно пахло бензином. А вечерами он организовал кружок самодеятельности. Было весело, я тоже там участвовала, но больше всех, конечно, он — он и пел, и плясал, и в разных сценках играл, очень хорошо читал наизусть стихи, но ведь никогда не бывает все хорошо, так что и тут появились проблемы. Я приглянулась начальнику этой авточасти, капитану, забыла фамилию. Это был просто садист какой-то. Мог вызвать меня в любое время. Прихожу, докладываю по форме: «Краснофлотец Штейп явилась по вашему приказанию, товарищ капитан», а он становился такой любезный, сладенький

и говорил: «Ну, что вы, зачем эти формальности, садитесь, поговорим». Разговариваем, сначала нормально, Он тоже был москвич, из интеллигентной еврейской семьи. Потом я чувствую, что разговор клонится не в ту сторону. А иногда обойдет вокруг своего начальственного стол, положит мне руки на плечи, я как вскачу и скажу: «Вы забываетесь, товарищ капитан!», а он опять так масленно: «Ну, зачем так?» и т. д. А иногда, видя мою неприступность, как заорет: «Встать по стойке смирно!» или «Выйдите из кабинета!» Так было несколько раз. Иногда меня выручал Володька, который вбегал в кабинет и по всей форме докладывал: «Товарищ капитан, разрешите обратиться к краснофлотцу Штейп. Краснофлотец Штейп, вас срочно к телефону вызывает генерал!» Ну, значит, я спасена. Правда, это не очень часто, но повторялось несколько раз. Хотя капитан отлично знал, что ко мне приходит, тогда уже старший лейтенант, Френк, и я ухожу с ним в увольнительную. А увольнительная давалась только в Центральном управлении. Я, правда, должна была ему об этом обязательно доложить, а если его нет на месте, то сделать запись в журнале в проходной. Мне он казался просто больным, ненормальным.

Когда наш выпуск был завершен, то в Московском флотском экипаже шел новый набор ребят, и, пока был организационный момент, ваш папа был относительно свободен. Занят только дежурством по части. Мог свободно уходить в увольнение, все зависело от меня, т. е. когда я смогу получить разрешение от своего генерала через Центральное управление. Встречались мы обычно у нас дома. Я приходила домой к своему отцу, кормила его, наводила кое-какой порядок, а позже приходил ваш папа. Так мы просиживали до вечера и расходились по местам своей службы.

26 мая 1943 года, когда я пришла домой, папа лежал почти без сознания и Муся встретила меня словами: «У него удар, он умирает». Он лежал на моем диване, ближе к окну, так как железная печка была в том углу и труба от нее выведена была в форточку. Он мог топить ее лежа, не вставая,

подкладывать туда бумагу, книги, ножки от стульев. У нас уже не на чем было сидеть. Все стулья были сожжены. Когда был еще в состоянии, днем мог почитать, там было светлее, а его кровать находилась далеко от печки и от света. Когда я под села к нему на диван, стала гладить и говорить, что я Зика, он сжал мою руку и все пытался поднести ее к своим губам. Думаю, что сейчас диагноз назвали бы инсультом. Так я сидела около него, говорила с ним, думаю, что он меня слышал. Он смотрел на меня, иногда шевелил губами, но ничего не мог произнести. Потом пришел ваш отец и застал его в таком виде. Муся поехала оповестить родственников (телефонов ведь не было тогда), отцу становилось с каждым часом все хуже. Оставив вашего отца около него, я ненадолго выходила в коридор, чтобы мой папа не видел моих слез, и старалась взять себя в руки. Умер мой папа, можно сказать, у меня на руках. Я хотела поправить его положение, обняла его за спину, чтобы подвинуть, а он вдруг откинул голову, и руки его повисли, как плети. Я поняла, что случилось самое ужасное в моей жизни. Весь мир как бы перевернулся. Я почувствовала себя беззащитной, одинокой, я не могла себе представить, что больше никогда не услышу его голоса, не услышу его советов, не увижу его любящих глаз и сдержанной улыбки. Я как обледенела. Ни одной слезинки, что-то продолжала ему говорить, просила простить меня за все, а, главное, за то, что ушла в армию. Ваш отец меня обнимал, уговаривал поплакать, но я его отталкивала, просила его уйти и сделать все, чем он может помочь. Вот даже сейчас, хотя прошло более пятидесяти лет, я не могу вспоминать и говорить об этом без слез.

Вернулась Муся, она попросила вашего отца похлопотать насчет кладбища и могилы, и он ушел. А мы с Мусей сломали замок кофра, так как не могли найти от него ключей, достали оттуда папин парадный костюм и две новые простыни, приготовленные им для меня в приданое. Еще там оставалась ночная рубашка. Все было завернуто в узелок и подписано папиной рукой: «Приданое для Зины».

Муся ушла доставать разные справки. Вернулась с работы Вера, мы с ней обмыли папу, одели и положили на стол посередине комнаты. Я стояла молча у гроба до тех пор, пока не надо было вернуться в часть. Не помню, как я доехала туда, но только помню, что когда я вернулась в часть, бросилась на свою койку, зарылась в подушку, и когда меня начали спрашивать что случилось, я проговорив, разрыдалась до судорог. Меня не могли успокоить, отвели в медсанчасть, там что-то давали, делали уколы, а ведь было лето, тепло, долго тело нельзя было оставлять дома, а у меня что-то случилось со зрением — словно пелена на глазах, и все так мутно, плохо видела. Целый день 27 мая я провела в санчасти, что-то мне делали, давали какие-то капли, уколы, в глаза пускали капли. 28 мая Володя отвез меня на бензовозе, а 29-го были похороны. Гроб сделали бесплатно на заводе «Стеол». Ваш отец за литр спирта договорился, чтобы вырыли могилу на Ваганьковском кладбище. На похоронах были я, Муся, Екатерина Федоровна, ваш отец и Володя. Вера слегла от расстройства, у нее был сильный приступ сердца. Ваш папа делал фотографии. Володя принес цветы, помогал нести гроб. Гроб был сбит наскоро, из сырого дерева, очень тяжелый, некрашенный, некрасивый. Отпевали прямо перед могилой, не в церкви. Володя на своей машине отвез нас всех домой и уехал.

С глазами у меня состояние ухудшалось.

Мы посидели, выпили спирта. Екатерина Федоровна испекла блины, сварила кисель и уехала. Я все время находилась в объятиях вашего отца. Муся и Вера оставили нас в своей комнате, а сами пошли в папину. Они видели, что я туда не могла даже заходить. Ваш отец меня уговаривал, обнимал, целовал, ласкал, и в эту ночь мы стали мужем и женой. Я была в каком-то забытье, совсем бесчувственная. Не знаю, как все это получилось, но потом я очень долго чувствовала угрызения совести. Как я могла в день похорон пойти на это. Но жизнь-то продолжалась, и я должна была выйти на работу, так как на похороны давали три дня. Мой генерал требовал подать

машину, ему предлагали другую, но он отказался. Мне пришлось 30 мая подавать ему машину к какому-то дому на Пресненском валу, это было недалеко от нашей автобазы. Автобаза находилась за Ваганьковским кладбищем. Если идти от центра по Краснопресненской улице, то последним домом тогда был универмаг угловой. Метро 1905 года не было, да и домов там никаких не было, был пустырь. Дорога шла по прямой от Пресни по какому-то пустырю, а справа — Ваганьковское кладбище. В конце этой дороги находилась наша авточасть. Состояние мое было, конечно, ужасное. Но, делать нечего, надо было ехать. Я благополучно проехала по этому пустырю, свернула налево, на Пресненский вал, с трудом нашла этот дом, мне до этого туда не приходилось подавать машину, поднялась по лестнице и доложила, что машина подана. Через несколько минут генерал вышел с какой-то дамочкой, видимо, со своей очередной пассией, и сказал, чтобы я отвезла его в Центральное военное управление, а ее потом в ГУМ и домой. Мы выехали, я свернула на улицу Красная Пресня. В ту пору по ней ходили трамваи и, когда подъехала к зоопарку, из переулка справа, почти прямо напротив зоопарка, вдруг выскочил какой-то мальчонка лет одиннадцати и прямо под мою машину. Я резко вывернула руль влево, а это было не доезжая остановки трамвая. Тут какая-то бабка сзади трамвая обегает, спешила сесть в последний вагон, видимо. В результате мальчонка прямо как налетел на мою машину, ударился, упал, но вскочил и убежал, а бабку я ударила передней частью и она упала. Тут все и началось — меня окружили, ругали. Бабка отряхнулась, обругала меня и отошла в сторону. Ее уговаривали пойти в поликлинику, но она отказывалась. Милиционер потребовал мои права. Я стала ему объяснять и хотела, чтобы генерал подтвердил о случившемся. Заглянула в машину, а его и след простыл. Значит, он тут же покинул машину вместе со своей дамой. Милиционер сел со мной в машину и мы с ним доехали не то до ГАИ, не то до милиции, но где-то очень близко в этом районе. Меня там долго мариновали, звонили в часть. Я там подписывала какие-то протоколы. Осматривали мою машину, но

она была в полном порядке, и меня отпустили, поменяв мне талон-вкладыш с указанием нарушения. Сказали, что я легко отделалась и что война, мол, все спишет. Я на своей машине вернулась в часть. От работы меня отстранили, так как проверили зрение и оказалось, что мне нельзя водить машину, передали ее другому. На этом моя шоферская работа закончилась. Время шло бездарно. Я болталась в части, работая в гараже по ремонту, чистке машин, одним словом, как слесарь, и все время переживала, что мой патриотический порыв так бесславно закончился. Ругала себя, что, может быть, не уйди я в армию, мой отец пожил бы еще немножко. Правда, сейчас я думаю, что так Богу было угодно — чтобы я не погибла в числе тех 135-ти девушек и смогла дать жизнь вам, троим своим детям. В увольнение меня больше не отпускали. Отец приходил к моей части, но мне было выйти нельзя, и мы разговаривали через вертушку проходной в присутствии дежурного. Только 12-го июля, не помню по какому случаю, но нас отпустили в увольнение. Но надо было как-то сообщить об этом отцу. И тут опять меня выручил Володя — он поехал на своем бензовозе и сообщил ему, что я жду его дома.

Когда я пришла домой, вставила ключ и хотела открыть замок, изнутри щелкнул крючок. Я не могла открыть дверь. Сначала я постучала, думая, что, может быть там Муся или Вера. Никто не отвечал. Они были на работе. Тогда я быстро обежала через двор наш дом и выбежала на Язу. Наше окно было открыто настежь. Я вернулась снова к своей двери, дергала ее, но не могла открыть. Вскоре подошел отец, дернул и сорвал крючок. Тут мы обнаружили, что меня обокрали. Еще хорошо, что они успели взять только какие-то мелочи. Моя швейная машинка стояла перевязанная веревкой, приготовленная к спуску. Кое-какие вещи кучей были сложены рядом на подоконнике. Я даже не могла понять, что они взяли, но то, что папин бинокль и красивую статуэтку с письменного стола я сразу заметила. Хорошо еще, что они не заметили кофр или просто не успели туда залезть. Бинокль папин был очень хороший, какой-то особенный, с дарственной надписью, он

мне очень напоминал прежние, счастливые времена, когда мы ходили в театр вместе. Мой бинокль мы еще раньше выменяли на картошку, а свой бинокль папа и в голод не отдавал. Я плакала от всех неудач, от какого-то общего горя, отец меня успокаивал, строил планы, сказал, что завтра же начнут переговоры о моем переводе в свою часть, что у них библиотекаря после передышки отправили на фронт, но для этого нам надо расписаться, иначе ему трудно о чем-либо просить. Я ему сказала: «Но, как же, ты же женат?», на что он ответил, что в его военном билете об этом ничего не сказано.

Помню, мы дождались Мусю и Веру, рассказали о краже и сразу решили, что нам надо разделить все вещи, которые находились в кофре. Мне было очень больно видеть папины вещи из кофра. Мы с отцом ушли в их комнату, а они остались делить. Я только просила оставить мне на память папины часы серебряные и золотые, которые он менял, когда надо было отремонтировать, и белый китель. Когда мы сидели у них в комнате, папа ваш меня ругал и убеждал пойти на дележку. Так мне досталась из моего приданого ночная рубашка, подаренная мне тетей Ниной, очень красивая, из тонкого полотна с кружевами, и двое папиных часов, и белый китель. Остальное они поделили между собой, и эти вещи их спасали потом от голода. То, что стояло сверху, ну там всякие безделушки, скатерти, что было в комнате, осталось мне. Свои вещи они взяли еще раньше, когда делили комнаты. И в этот же день, 12 июля 1943 года, мы с папой расписались в Бауманском ЗАГС'е, около военкомата и сада им. Баумана, прямо напротив церкви. Я, выйдя из ЗАГС'а, посмотрела на церковь и мысленно, про себя, конечно, перекрестилась. Я даже не посмела бы сказать об этом отцу. Он меня спросил: «Ты что?», когда я остановилась, а я ему говорю: «Да церковь какая красивая, правда?». Она и в самом деле была очень хороша — на горке, освещена солнцем, а папа ответил: «Скоро все равно сломают». Потом он впервые купил мне букетик ландышей, и мы дошли до Земляного вала и разошлись по своим частям. А вот уже в конце июля он меня буквально

выкрал из части. Даже когда пришел указ о моем переводе в часть к отцу, капитан дал распоряжение в проходной не пропускать меня. Здесь опять меня выручил Володя. Он на своем бензовозе разъезжал по всей Москве. Заехал к отцу и сказал, что меня не отпускают, а отец не мог отлучиться, он был в эти сутки дежурный по части. Ночью подъехал грузовик к моему окну, постучали. Выглянула, а там Фомкин и говорит: «Миша прислал за тобой». Я сначала засомневалась, зная как он за мной ухаживал, а он говорит: «Давай быстро вылезай в окно, да забери свои вещички». У меня их и не было — что там — кружка и ложка. Так он меня увез к отцу. Я прыгнула прямо в его объятия, и на машине мы с ним поехали в часть отца. Авторота, где служил отец, была выведена с территории Московско-флотского экипажа и уже находилась где-то в районе Маленковской, близко от Ярославской железной дороги. Я часто смотрела на поезда и с тоской думала о даче. Так мне туда хотелось поехать.

Поместили меня в кубрик с женщинами-краснофлотцами. Они работали при части, в основном, в прачечной, в столовой, а я в библиотеке. Никакой строгости не было. Как только у отца было свободное время, он приходил ко мне в библиотеку и долго сидел там. Когда нельзя было разговаривать, он сидел и писал мне письма, стихи, смешные рапорта.

16 августа 1943 года нам удалось устроить свадьбу на даче. Были Муся, Вера, Екатерина Федоровна, Фомкин и Алексей Степанович, Люсин отец. Одним словом, собрали всех, кто был в то время в Москве. Ваш отец принес пол-литра спирта, его разбавили, а Володя привез бочку браги и уехал. Мужчины все здорово напились, так как закуски не было, кроме нескольких пирожков, которые сделала Екатерина Федоровна, огурцов и банки консервов. Зато на столе была красивая зеленая скатерть, две свечи огромных и цветы из сада. Когда стали кричать горько, то папа ваш и не думал вставать, я его подтолкнула локтем, сказала на ухо ему, что надо при всех поцеловаться. Это ему очень понравилось, и потом он уже сам начал кричать

«Горько!» Все смеялись, что он не знает этой традиции, но поддерживали его с удовольствием. Фомкин растянулся на лестнице и заснул, Алексей спал на полу в Мусиной комнате и все просил какую-нибудь одежонку, чтобы укрыться от холода. Отца я единственный раз видела в таком состоянии. Мне пришлось его самой разувать и уложить в саду на раскладушке. Ни о каких подарках не только речи, но и мысли не было. Наутро все уже были свежими и здоровыми. Посидели за чаем и разъехались. И, представьте, все были очень довольны, что даже в такое время смогли устроить праздник. А вот Володя уехал потому, что очень любил меня и страдал. Потом он мне в этом признался, когда я уже ожидала ребенка. Наверное, это был первый и в те годы единственный человек, который по-настоящему любил меня. К сожалению, я поняла это с очень большим опозданием.

Однажды папа мне сказал: «Сегодня в обед приходи домой, с начальством я договорился, тебя ожидает сюрприз». Я ехала в таком состоянии, думая, что же там может быть. И, действительно, когда я пришла, я поразилась — в нашей комнате заканчивался ремонт. Потолок был побелен, стены были покрашены салатовой клеевой краской, правда, стекла были не вставлены, но рамы тоже докрашивали, и работу почти заканчивали два краснофлотца. Многие вещи были выброшены, например, иконы, портреты дедушки и бабушки, репродукции картин Саврасова и многие другие вещи, на его взгляд, ненужные и устаревшие. И даже было выброшено мое кресло и кофр. Ну, конечно, все цветы, за которыми некому было ухаживать. Я даже не могла себе представить, что в такое тяжелое время можно было сделать такой ремонт, да даже и мечтать было невозможно. Но все-таки мне казалось, что что-то опустело, чего-то не хватает, комната стала чужой. Одним словом, надо было начинать жить заново, все по-другому. Привычное, пусть даже скудное и ветхое, но дорогое для меня куда-то отодвинуто от меня было, ушло.

Наступила осень 43-го года. Некоторые заводы и фабрики возвращались из эвакуации, мы теснили немцев вовсю. Вернулся и мой институт, где я раньше училась, и мы с папой решили, что мне лучше демобилизоваться и вернуться в институт. Я подала рапорт и к концу октября получила разрешение, где было так и написано: «Демобилизовать для продолжения учебы в институте». Так прошел год моей службы в армии.

Мы с папой зажили настоящей семейной жизнью. Он уходил рано утром в часть на службу и возвращался поздно, но каждый вечер домой, кроме суток, когда надо было дежурить по части. Я проводила все время в институте и в читалках, снова дорвалась до книг. Время было очень голодное, и папа каждый день приносил мне какое-нибудь первое — щи, борщ, суп во фляге. Я с жадностью его съедала по вечерам. Денег у нас не было, кроме моей стипендии, 32-х руб. в месяц. Папа получал 1300 руб., но у него был выписан аттестат на мать — 500 руб. и на жену с сыном — 700 руб. Так что оставалось нам, чтобы только-только выкупить паек. Носить у меня было совсем нечего. Кое-что давали иногда одеть сестры, и вдруг на 7 ноября папа приносит мне красивые черные кожаные туфли на каблуках. Я вообще никогда в жизни не носила еще таких. Правда, он сделал их за спирт на заказ, но без меня, и они мне здорово сжимали ногу, но я терпела; да, разве можно было отказаться от такой прелести, да сделанной от души. У нас с папой было все хорошо, он не переставал мной восхищаться и говорил, что самый красивый мой наряд — это моя ночная рубашка, она, действительно, была роскошной и скорее напоминала не настоящий, а XIX век. Папа не давал мне обрезать или подкалывать волосы, любил, когда я их распускала. Он был очень темпераментным. В ноябре я забеременела. Занятия в институте были для меня очень затруднительными, я все забыла и на лекциях по высшей математике сидела как дурочка, мало что понимала. Начались холода, я перенесла воспаление легких. В институте в перерыве все бегали в буфет, где можно было бесплатно выпить горячего кипятка. Даже руки мерзли

записывать лекции, ну и, конечно, все были в пальто, а я в своей тонкой шинели и форменке, только что без гюйса. А ведь надо было подумать о будущем ребенке. Папа к этому как-то очень легко относился, меня это несколько огорчало.

К нам очень часто приходили гости. Папа познакомил меня с Изей (Исааком). Он мне сначала очень не понравился своими одесскими шуточками, а вот Иосиф казался более интеллигентным, приятным, играл на рояле, мы с папой танцевали. Да, папа еще выбросил граммофон с трубой и все пластинки и ноты. Правда, они были в таком потрепанном состоянии, но даже мой отец пожалел и не топил ими, когда страдал от холода. Ваш папа все мечтал купить патефон, но это состоялось очень не скоро, лет через пять после нашей совместной жизни. Приходила моя подруга из института Лена, а мы с папой мечтали побыть вдвоем. Нам в то время никто не был нужен. Я считала себя очень счастливой и для меня кроме него никто не существовал. Я навела, по возможности, порядок, красоту в доме, уютно было, но холода увеличивались, и с ними уменьшался уют, а печку с трубой отец тоже выкинул. Мерзнуть особенно мы начали зимой. Мы спали теперь уже одетые под одним шерстяным одеялом, на узеньком моем диванчике, может, это нас спасало, так как кровать моего отца тоже была выброшена. Не выдержав всех трудностей, я бросила институт и пошла работать медсестрой в роддом. Платили 55 рублей в месяц и карточка служащая, что означало 600 г хлеба в день. Кроме того, в больнице многие умирали от аборт, так как они были запрещены, и женщины были вынуждены прибегать к самым ужасным способам, чтобы избавиться от беременности. Тогда их дневную порцию делили между собой сотрудники, или кто-то уходил после обеда и ужин оставался, но это было редко. В больнице было тепло, топили, работали иногда полторы смены, но дополнительной оплаты за это не получали. На одном этаже лежали раненные мужчины и женщины, военные. Потом меня назначили старшей сестрой отделения. Лекарства были очень строго на

учете, их явно не хватало. Мне прибавили зарплату и назначили ответственной за лекарства. Я стала получать 62 руб., это уже лучше, а вот пайки по карточкам все уменьшались. Например, вместо положенных 1,5 кг мяса на месяц выдавали фунтик яичного порошка, не помню грамм 100—150. Еще, помню, давали 0,5 литра подсолнечного масла на месяц, а по промтоварным карточкам — 2 куса хозяйственного мыла в год и пол-литра водки. За водой продолжали ходить на колонку, но свет в это время давали довольно часто, и можно было согреть кое-что на плитке. Крупы выдавали по карточкам, только это были брикеты пшенной каши — 4 брикета на месяц. В феврале папа стал приходить реже — во-первых, он очень мерз у нас дома и пропускал ужин, а во-вторых, у них шли сборы для переезда в Медвежий стан, это было под Ленинградом. Их автошкола должна была перевестись из Москвы в Ленинград. В начале марта он уехал, в первых числах. Я очень скучала, письма приходили редко, но полные любви, я продолжала работать. Как-то ко мне приехал папин друг, Женя Сорокин, привез мне посылочку с продуктами от папы. Это было что-то роскошное — топленое масло в баночке, брикеты с кашей и даже целая пачка пиленого сахара. Сорокин вернулся в Ленинград и рассказал о моей жизни и сказал папе: «У тебя не жена, а конфетка», и с тех пор папа так меня и называл конфеткой. А я, действительно, несмотря на все трудности с беременностью, только расцветала. Папа же ваш не любил видеть меня беременной, говорил, что это очень портит фигуру, или: «Когда же кончится это безобразие?» Меня это очень расстраивало и, когда он уходил, я без него плакала и вспоминала, как мой папа любовно и бережно относился к Миле, когда она ожидала Люсю, или даже к нашей соседке, Вале Чуриковой, когда у нее был огромный живот с двойней. Когда папа возвращался и я ему признавалась, отчего я дююсь или расстроена, он говорил, чтобы я не обижалась, потому что он, как всякий художник, любит все красивое. Хотя он тогда еще не рисовал, но интерес к картинам проявлял уже тогда. Я соглашалась с ним и поверила, что это действительно безобразно, не знала, как спрятать свой живот. И теперь, когда

он уехал, я даже была рада, что он не видит, как мой живот все увеличивается, хотя я очень скучала без него.

Как-то после папиного отъезда, пришел Изя и очень удивился, что папа уехал, оставив меня в таком положении. Тогда он меня застал за приготовлением детского приданого и животик был уже заметен, никуда не спрячешь. Изя возмущался, ругал его какими-то словами из одесского лексикона, сейчас не помню, но обидными. Я ему сказала, что вот этот выступ у нас в комнате, вероятно, дымоход, так как раньше под нами была кухня с печкой. Он просто воскликнул: «Да ты же еще и умница!» Долго мерил угол нашей комнаты, сидел, думал и наконец проговорил: «Завтра приведу к тебе друга — специалиста и мы подумаем вместе, как сложить тебе печку. Только позаботься его хоть чаем напоить». И, действительно, на другой день они пришли с двумя сумками, каждая наполнена кирпичами. Изя с другом работали каждый вечер и сложили мне замечательную маленькую кирпичную печку, величиной с журнальный столик, с двумя конфорками, а трубу вывели в дымоход. Мы сразу ее затопили, стало так тепло и уютно. Можно было воду греть для купания и стирки. Ни у кого в доме не было такого преимущества.

На дачу я переехала в свой предродовой отпуск, т. е. за шесть недель до родов, а очередной отпуск я решила прибавить к периоду после родов. Стало немного легче, поскольку в предродовой отпуск давали дополнительный паек. Я получила две баночки сгущенки и 400 г сливочного масла. Только вот не знала, как сохранить все это до того времени, когда ребенок появится, холодильников же не было. Решила масло выменять на сгущенку. Долго стояла в магазине и предлагала всем будущим матерям. Наконец, одна согласилась дать мне три банки за масло. Я спрятала эти баночки на даче, в подпол, чтобы они к тому времени не испортились. Получила отпускные, купила шесть старых пожелтевших пеленок б/у и плетеные санки на полозьях, ну как коляска. По снегу они скользили прекрасно, и в комнате

можно было поставить и положить ребенка, как в коляску. А ведь надо еще 35 пеленок, да столько же подгузников, столько же байковых, одеяльце и т. д. Я собрала все старое белье наше с папой и у Веры с Мусей выпросила — и села за машинку. После работы я все строчила и строчила. Приготовливала распашонки, шапочки, кофточки, некоторые вышивала. Хорошо было лето — тепло и светло, и электричество иногда включали. Так я уже все подготовила для ребенка до переезда на дачу. Связала это в узелок с необходимыми вещами, с которыми должен был кто-нибудь придти, когда меня будут выписывать. А еще я усиленно изучала книжки по уходу за ребенком, брала их в Пушкинской библиотеке. На даче я жила одна, чувствовала себя прекрасно. Я заняла большую комнату, а маленькая и кухня были пустыми. Ходила в лес, доходила до мест напротив Черкизовской церкви, куда мы обычно ходили с моим папой. Иногда по дороге в лес мне удавалось вырвать несколько морковок из колхозного поля, стащить, одним словом, которые я тут же съедала. Я не помню в своей жизни такого беззаботного отпуска. Почитала, книги я брала у Марии Борисовны. Это была очень интеллигентная, образованная женщина. Она закончила в Петербурге Институт благородных девиц. Она жила в 55-ой даче, на первом этаже, ее комната была напротив тети Дусиной. Мой папа с ней очень дружил, во многом помогал ей, когда она вернулась из ссылки. У нее была большая комната, вся заставленная шкафами, шкафчиками, этажерками с книгами. К ней я часто заходила, мы беседовали, вспоминали папу. Она тоже голодала, но морально у нее всегда я могла найти поддержку. Помню как однажды меня очень оскорбили какие-то мужчины, когда я шла со станции, сказав мне, что, мол молодая такая, цветущая красавица, кто же тебя так изуродовал... и еще что-то неприятное. От станции я шла, всю дорогу вытирая слезы. И, не дойдя до своей дачи, зашла к ней и там нашла поддержку и утешение. Вообще-то меня часто оскорбляли, особенно женщины — только потому, что я беременная. Они говорили: «Вот, мы одни, наши мужья воют, а ты — б...». Они не понимали, что это было большим

героизмом — родить в такое время. Наша страна и так была лишена целого поколения. Не многие женщины шли на это. Передо мной раньше тоже стоял этот вопрос, но я отвергала аборт. Папа ваш мне говорил: «Смотри, как хочешь». Он ни на чем не настаивал, но и ничего не решал.

Это было самое спокойное для меня время. Думаю, что это очень повлияло на Андрюшу, потому что он был самым спокойным ребенком. Да, вдруг тут еще от папы получила перевод на 500 рублей. Я могла каждый день за 15 рублей купить 0,5 л молока в деревне и до прогулки его выпить. Иногда удавалось собрать немного земляники, а каждую субботу вечером ко мне приезжал Изя. Он у меня ночевал, а утром рано уезжал заниматься своим огородом на 43-ий километр. Там ему выдали участок от работы для посадки картошки. А, кроме того, у него были свидания с Лидой Никитиной, в которую он был влюблен. Дачный воздух, прогулки, общение с приятными людьми — всё это очень благотворно действовало на меня — просто пришла хорошая полоса в моей жизни.

6 августа 1944 года было воскресенье, Изя, как всегда, работал на своем огороде, почему-то вернулся, обычно он с огорода ехал прямо домой в Москву. Изя сказал: «А ну-ка, собирай вещички, я тебя отвезу в Москву». Я сопротивлялась, говорила, что еще рано по врачебным показаниям, еще не раньше, чем через 10 дней, но он настоял. Вскинув мой матрасник на спину, набитый вещами, в основном, постелью, не дав мне даже нести легкую сумку. Ворчал, шутил по-одесски. Тогда метро работало, а трамваи, в основном, стояли. И вдруг, когда мы поднялись по эскалаторной лестнице, мой мешок летит в сторону, а он хватается какого-то мужика за грудки и начинает с ним драку. Я в ужасе стою и придерживаю мешок, потом он втащил этого мужика в дверь, по-моему, милиции, что была около лестницы. Выходит оттуда весь красный, кровь течет из носа, хватается мешок и командует мне: «Пошли!» и больше ни слова. Так мы шли от Бауманского метро молча. Дома он мне сказал, что это был махровый антисемит и

похабник, и он здорово ему врезал и за меня, и за себя. Но я ничего этого не слышала, я стояла на лестнице впереди него.

Утром, 7 августа (на следующий день) я проснулась от какого-то странного ощущения, как будто у меня что-то внутри оборвалось. Когда я встала, у меня начались схватки, правда, редкие, но сильные боли в спине и животе, минут через 40 каждая. Сначала я подумала, что это снова радикулит ко мне вернулся, который я перенесла ранней весной. Дома никого не было — Вера уехала к мужу, в Рыбинск, Муся была в командировке. Нужно было одной идти в роддом. «А, может, еще рано», — раздумывала я. Это был понедельник, соседей ни души, все на работе, а детей все обычно отправляли в лагерь или в деревню под Рязанью. Схватки становились все чаще. Я хваталась за крышку рояля и всю боль вымещала на ней. И вдруг часов в одиннадцать возвращается Муся из командировки, нет, и впрямь мне тогда везло, или Бог мне помогал. Она привезла много ягод, грибов, но меня ничего не интересовало, я только показала ей, где узелок, где сгущенка (она стояла между рамами за окном), было очень прохладно. Я надела шинель, которая давно уже не сходилась на животе, и мы с ней отправились пешком. Трамваи не ходили, шли мы сначала по Салтыковке, через Лефортово, потом свернули налево, шли мимо Военных академий. Схватки мои останавливали меня, и я молча впивалась или в Мусину руку или в столб. Очень стеснялась военных, вернее, боялась нарваться от них на что-нибудь оскорбительное. Тем более, я была в шинели, что давало им повод. Но все обошлось благополучно, я пришла в свой роддом № 19, меня, конечно, сразу приняли и положили в родилку, так как схватки были уже частыми. Шел тогда второй час. От обеда я отказалась. Перед моим столом, на котором я лежала, висели часы, и я все время просила сестер и врачей сказать мне, когда я рожу. Мне казалось, что тогда я буду рассчитывать свои силы, терпеть и не кричать, как делали это остальные. Все ко мне были очень внимательны и, улыбаясь, говорили вот-вот, скоро, скоро. Потом мне рассказывали, что в последний

предродовой момент я кричала: «Папа, папочка, помоги мне!», в отличие от других, которые звали маму.

В пять часов вечера родился Андрюша. Он так мгновенно выскочил, что они не успели повернуть его плечики, когда он проходил, и у меня был большой разрыв, поэтому меня сразу после родов перевели в операционную, зашивали по живому, без всякой анестезии. Когда меня вывезли на каталке в коридор, мне даже не показали Андрюшу. Состояние мое было очень тяжелым. Я попросила медсестру позвонить Изе и сказать, что Зина родила, и все. Изя примчался тут же с работы. Я ему еле-еле нацарапала записку, чтобы он дал телеграмму отцу. Он, конечно, сбегал к Мусе и сообщил ей. И она приходила ко мне в роддом, приносила ягоды, грибы. Через сутки мне принесли Андрюшу. Нянька кричала всегда: «Ну, чей такой чернобровый красавчик?». Он, действительно, был очень красивый, отличался от всех других детей. Все дети были какие-то сморщенные. Матери подходили ко мне и удивлялись, но беда была в том, что он все время спал, не брал грудь. Я не могла его добудиться, и тогда я начала думать, что он очень слабенький, и боялась, что он умрет. Как-то в палату во время кормления зашел врач, я плачу, говорю: «Вероятно, у меня молока не хватает, может, это от голода, он совсем грудь не берет». А что еще могло быть страшнее в то время, чем остаться без грудного молока, чем кормить его. Врач посмотрел грудь и сказал: «Пейте больше чая с молоком, железы у вас хорошие молочные». Я написала Мусе записку, чтобы она взяла из моих запасов баночку сгущенки и принесла мне. Она тут же, через час, приносит мне пол-литра молока в бутылке. А как его хранить, лето, испортится, холодильников тогда не было. Я его выпила за два дня, а сама сержусь на Мусю, что она мне вместо сгущенки принесла совсем не то. Оказывается, ко мне в окно залезли воры и все мои запасы стащили. Она мне об этом ничего не написала в записке, боясь расстроить меня. Но на третий день, когда принесли Андрюшу, его нельзя было оторвать от груди. В палате всех детей уже накормят, забирают,

а он все сосет да сосет. Няньки меня ругают: «Хватит, а то перекормишь!». На седьмой день мы выписались. За мной пришла Муся, и мы, теперь уже втроем, той же дорожкой пешком добрались до дома. Я была еще слабая, да и швы болели. Муся оставила меня одну с ребенком и ушла. У меня поднялась температура почти до 40 градусов, грудь болела страшно, а Андрюша все спит да спит. Подложу под него руку — сухой. Все прислушивалась, дышит ли, живой ли. Тут меня выручила тетя Даша. Как начала его вертеть, разворачивать, так грубо, у меня прямо сердце замирало, а сказать ей что-нибудь боюсь. А она приговаривает: «Ну, что, крестничек, обоссался по шейку, а мать твоя, дуреха, думает, что ты помер». И меня она каким-то народным средством спасла от начинавшейся грудницы, заставила сцеживать молоко и выпивать его самой. Не пропадать же такому добру даром. Она будет его крестной.

Муся, оказывается, действительно была очень занята хлопотами об освобождении Мили, Люсиной мамы, которая была в тюрьме в это время. Привела Люсю ко мне, так как ее не с кем было оставить. Вот так, с Андрюшей на руках и Люсей за ручку, пришлось срочно оформлять все документы о рождении его для получения продовольственной карточки. На детскую карточку давали 400 г в день хлеба. А порядок был такой: на карточке талоны с датой: если не купишь в этот день, то талон пропадает. Через неделю Милю выпустили из тюрьмы, и она забрала Люсю. Муся уехала в командировку, а в конце августа вернулась Вера от мужа к началу учебного года, она ведь работала в школе. И тут ко мне приехали гости — бабушка Этя с Раей и ее дочкой Циночкой. Это было мое первое знакомство с ними. Вели они себя очень странно, со мной почти не разговаривали, видно, я им не понравилась. Очень удивлялись, как я перед каждым кормлением вожусь с ребенком — подмываю, протираю; они только плечами пожимали и насмешливо улыбались. Ели отдельно — сварят себе на печке, сядут за стол, а мне даже не предложат. Правда, иногда бабушка Этя

подойдет к Андрюше, потрогает за подбородок и скажет: «Ну, вылитый Муня!» Когда Вера пошла их провожать, у них на вокзале, в камере хранения оказались целые мешки с провизией — орехи, курага, еще что-то. Помню, как Вера возмущалась — «Это не родственники, а нелюди какие-то! Разве не видели, как ты голодаешь?»

Приближалась осень, и надо было позаботиться о дровах. У нас по Яузе ходили баржи с бревнами, иногда они причаливали к нашему берегу и продавали их на хлеб или на спирт. На охоту за шпалами я выходила ночью. Надо было выждать, когда появится баржа, иногда они не останавливались. Бревна были сырые и очень тяжелые. Я тащила, конечно, только по одному, волоком по улице до ворот, потом через весь двор, но самое трудное было — поднять на второй этаж. Вера оставалась дома с Андрюшей. Я их ставила в комнате, в правом углу. В коридоре один раз оставила — стащили. Так я охотилась каждую ночь, иногда удавалось за ночь притащить даже два бревна. Набрала много — даже ставить уже было некуда. Но от физического напряжения у меня разошлись швы. Как-то Изя зашел, а я лежу с Андрюшей на диване, встать не могу. Он быстро поймал какой-то грузовик, взял меня на руки вместе с Андрюшей и повез в больницу. Меня там снова зашили, но в больнице не оставили, с ребенком нельзя. Могли бы оставить, но ребенка нельзя было оставить, а как же его кормить. Он там ругался с врачами, но ничего не вышло, привез нас обратно домой. Сказали, что неделю надо лежать, не вставать. Так я лежа меняла пеленки, а для кормления перекачивала через себя Андрюшу с одной стороны на другую. Изя приходил каждый день, даже иногда стирал пеленки. Раз они решили с Верой под моим руководством искупать Андрюшу, так он так орал... Наверное, чувствовал разницу рук. Тетя Даша приносила мне кипяток, а Вера выкупала хлеб по карточкам каждый день. А, между прочим, за хлебом надо было стоять в длинной очереди на улице, потому что все выкупали каждый день и, не доверяя друг другу при таком голоде, каждый выкупал свою долю сам.

Карточки должны были быть прикреплены к определенному магазину. Мы были прикреплены к нашему угловому — «Уголок», на углу Бауманской и ул. Радио. Я поправилась. Наша жизнь с Андрюшей стала налаживаться. Изя приходил каждый день в обеденный перерыв или после работы. Обязательно приносил один кусочек пиленого сахара. Он работал в каком-то п/я рядом с ЦАГИ, им давали талоны на обед, назывались они Р4, ежедневно и к обеду один кусок сахара. Сахар он приносил для Андрюши, чтобы давать ему подслащенную воду в течение дня. Когда у меня молоко исчезало, он брал меня в столовую, и мы делили с ним обед его пополам. Так все сотрудники и решили, что это его сын. Да еще сообщение такое было по телефону: «передайте Изе, что Зина родила». Мы с ним смеялись. Ему даже как-то на работе выделили красивые беленькие ботиночки для Андрюши.

Как-то Иосиф ходил по комнате с Андрюшей на руках и напевал что-то. Изя ему сказал: «Ну, профессор, хватит петь романсы, давай-ка Зине лучше дров напилим». Так они напилили все дрова, а мне только оставалось колоть их. У нас в коридоре, около лестницы лежал большой камень, на нем все кололи дрова. Иосиф был другом отца с детства. Они с отцом жили в одном местечке. Во время войны он имел уже докторскую степень, жил и работал в Жуковском, так что бывал у меня редко, ну, может быть, раз в месяц. Да и что ему был за интерес бывать чаще. Длинных бесед мне уже было некогда с ним вести, а с ребенком он заниматься не очень умел, не то, что Изя. Оба они были холостыми, и я все старалась им сосватать своих подруг. Изя жил с больной матерью, в подвале, окна были прямо на земле, в районе Динамо. Иногда Изя забегал ко мне до работы и приносил авоську с картошкой, но это было редко. Урожай со своей сотки собрал небольшой, да там еще воровали, выкапывали. Ведь участки не охранялись. Думаю, что он голодал не меньше меня. Когда я отказывалась брать у него, он говорил: «Ну, мне же не надо кормить ребенка». Казалось бы, я должна была жить неплохо, но все-таки мне не хватало питания. Хотя, папа, как только приехали к нему

из Средней Азии мать и жена с Борей, аннулировал на них аттестат и присылал мне ежемесячно 500 рублей, да и я получала две карточки — на себя иждивенческую и на Андрюшу детскую. Это уже означало двойной паек. Но детскую карточку я всегда продавала и на эти деньги покупала для Андрюши яблоки, мандарины, морковь в ГУМ'е. На первом этаже ГУМ'а был открыт коммерческий магазин, где это можно было купить, или подкупала дрова. Андрюша очень хорошо поправлялся, прибавлял каждый месяц почти килограмм. Поэтому мне отказывали в дополнительном питании. Тогда пришлось пойти на обман. Я его покормила дома грудью и пошла в детскую консультацию и стала жаловаться, что мне его нечем кормить. Проверили — его положили на весы до кормления, после — действительно, вес не прибавился, и врач выписал мне 200 г жидкой манной каши на молоке, которую я могла получить с семи до восьми утра каждый день бесплатно на молочной кухне на Разгуляе. Это было здорово. Покормив Андрюшу в 6 часов утра, мы отправлялись с ним за этой бутылочкой, и я ее выпивала тут же, в подъезде, пока она была теплая. Но это было до шести месяцев, а потом уже я начала прикармливать Андрюшу. Правда, ходить туда было трудно, надо было идти пешком с ним на руках в гору. Пока был снег, я могла везти его в санках, коляске. А какой у нас с ним был чудный Новый год. Не помню, кто-то притащил большую елку, я нарядила ее, сколько же было радости видеть, как он протягивает ручки, старается схватить игрушки. Он даже визжал от радости. Первые фотография я сделала когда ему было 4—4,5 месяца и сама сфотографировалась напротив Немецкого рынка. Моя фотография была помещена на витрине с подписью: «Молодая мама». И я впервые могла послать папе фотографию сына и свою тоже. В шесть месяцев он весил уже 9 кг. Изя только удивлялся откуда он набирает вес при такой жизни. Все время он спал у меня на улице. Только для совершения туалета и кормления я заносила его в дом, ну и ночью, конечно. Соседи решили, что мужа у меня нет и я просто хочу его заморозить. Днем оставляла его одного в

санках, а сама бегала взад и вперед по лестнице — то стирая, то вывешивая белье, то суп поставить, то еще что-нибудь — и заодно контролировала его.

Один раз, когда он был еще совсем маленьким, я попросила Толю Орлова, его крестного, его покараулить. Толе тогда было лет шесть. Вдруг он ко мне прибегает и говорит: «Ваш Андрюшка — фюлюган, фигу показывает». Спускаюсь и вижу: ручка высунута из одеяла и сделана фигура из пальчиков. Хорошо, было еще не очень холодно. Больше я уже не рисковала оставлять его на детей. Как-то гуляя с ним во дворе, это было в конце марта, я увидела, что идет папа от ворот. Ну, прямо глазам своим не могла поверить, совершенно неожиданно. Это было такое счастье — мы потащили Андрюшу домой, и я с гордостью демонстрировала его достижения. Папа привез ему красивую кофточку, в которой его фотографировал. Оказалось, что папа приехал с бабушкой Этей, Раей и Циночкой и везет их в Одессу, а их оставил на одну ночь в комнате матери и ребенка на вокзале, чтобы нам побыть одну ночь без свидетелей. На другой день они приехали к нам, относились ко мне уже иначе. Папа фотографировал Андрюшку с бабушкой и с Циночкой, и через два дня они уехали. Они привезли гречневую крупу, и мы варили кашу. Я удивлялась, как неэкономно они ее расходуют, даже еще перебирают, да едят со сливочным маслом. Кое-что из продуктов они мне оставили. Мы стали ждать папиного возвращения.

*Материал с сайта [russianeurope.ru](http://russianeurope.ru)*